

АНТОЛОГИЯ РУССКОЙ МИСТИКИ



Антология русской мистики

Николай Гоголь

Антология русской мистики

«Книжное издательство Бабицкого»

2021

Гоголь Н. В.

Антология русской мистики / Н. В. Гоголь — «Книжное издательство Бабицкого», 2021 — (Антология русской мистики)

У современного читателя взгляд на классическую литературу весьма однобокий: чего нет в школьных учебниках, того, почти наверняка, не знают. Русскую мистику привыкли ассоциировать со страшными сказками Гоголя, где черт ворует месяц с неба, а бурсак чертит мелом круг, оберегающий от нечистой силы. Эта антология представит вам не только Гоголя, Лексова, Тургенева и Куприна, но и других писателей, незаслуженно позабытых или вовсе неизвестных прежде широкой публике. Давайте знакомиться с чудесными рассказами, которые пугали наших прадедушек и прабабушек!

© Гоголь Н. В., 2021

© Книжное издательство
Бабицкого, 2021

Содержание

Андрей Зарин	6
Алексей Апухтин	35
Николай Брешко-Брешковский	48
Орест Сомов	59
Александр Куприн	65
Осип Сенковский	69
Конец ознакомительного фрагмента.	71

Антология русской мистики

Авторы:

Андрей Зарин, Николай Мельгунов, Алексей Апухтин, Николай Брешко-Брешковский, Орест Сомов, Александр Куприн, Осип Сенковский, Александр Амфитеатров, Александр Иванов, Николай Павлов, Сергей Стечкин, Александр Измайлов, Алексей Будищев, Георгий Северцев-Полилов, Григорий Данилевский, Николай Лесков, Валериан Олин, Николай Гейнце, Николай Шебуев, Антоний Погорельский, Дмитрий Цензор, Михаил Арцыбашев, Михаил Загоскин, Евдокия Ростопчина, Валентин Франчич, Георгий Чулков, Константин Аксаков, Иван Тургенев, Николай Гоголь, Аркадий Бухов

Андрей Зарин «Дар сатаны»

Было всего восемь часов вечера, когда Федор Андреевич возвращался к себе домой, – в первый раз в жизни в свою собственную квартиру, что забавляло и радовало его совсем по-детски. Он добродушно кивнул дворнику в ответ на его почтительный поклон, деловым тоном спросил: "Не было ли на его имя писем", и степенным шагом прошел под ворота, с радостным трепетом сжимая рукой в кармане ключ от собственной квартиры!..

По довольно опрятной лестнице он, не спеша, стал подниматься к себе в третий этаж, когда вдруг увидел на повороте господина, шедшего по лестнице впереди него. Невысокого роста, скорее полный, чем худой, в шляпе котелком и теплом пальто с рыжим вытертым (когда-то бобровым) воротником, господин этот, пыхтя и отдуваясь, подымался вверх, и Федор Андреевич несколько замедлил свой шаг. Когда господин поднимался на площадку третьего этажа, Федор Андреевич был от него ниже ступенек на шесть. Господин взошел на площадку, повернул налево, и вдруг сразу смолкли и его шаги, и его сопение. Федора Андреевича это невольно поразило; он в два шага очутился на площадке и с изумлением огляделся: ни на площадке, ни на лестнице незнакомца не было. Федору Андреевичу такое исчезновение показалось подозрительным. С быстротой юноши он поднялся до площадки пятого этажа и спустился назад в полном недоумении: незнакомец исчез без следа. Ни одна дверь не стукнула, не открылась, мимо него таинственный незнакомец не проходил, – куда же он девался?

Но тут Федор Андреевич увидел на двери ярко вычищенную медную доску со своей фамилией, вынул из кармана ключ и, отворяя дверь в свою новую квартиру, сразу забыл о незнакомце и его таинственном исчезновении. Федор Андреевич вошел в крошечную прихожую, тщательно запер дверь, повесил пальто и прошел в первую комнату своей квартиры.

Здесь он зажег одну лампу на комод, другую на стене, третью на, еще неубранном, письменном столе и с наслаждением опустился на диван, созерцая свои владения. Крошечная квартира его имела всего две комнатки с коридором и кухней, но для него этого было вполне достаточно.

Большую комнату он назначил для занятий, еды и приемов. Между окон поместился письменный стол и кресло, в углу этажерка, вдоль стены – книжный шкаф; напротив шкапа стал черный крошечный сосновый обеденный стол, над которым теперь весело горела стенная лампа с вертушкой; в углу деревянная колонна, под белый мрамор, с гипсовой фигурой Наполеона в его классической позе. Наконец, свободный угол комнаты (в третьем – стояла печка) заняла гостиная: стол, диван, два кресла на войлочном ковре с изображением крадущегося среди зарослей тигра.

На окнах висели занавески, на дверях – портьеры, в четырех корзинах стояли растения, а по стенам висели несколько гравюр и дюжины две кабинетных портретов в рамках. Все же в совокупности имело такой уютный, приветливый вид, что Федору Андреевичу был вполне простителен его самодовольный восторг.

Конец этим скучным путешествиям по меблированным комнатам с их шумом и гамом, с непрошенными знакомствами, с буйными или навязчивыми соседями. В своей квартире человек всегда сам себе хозяин. И, наконец, это уже собственность, оседлость... Растопив печку, заварив чай и ярко осветив комнату, как легко и хорошо можно поработать, помечтать и... вдохновиться...

Федор Андреевич был поэт.

При этих мыслях он взглянул на свой письменный стол, который, еще неубранный, казался каким-то унылым остовом, на пустую этажерку и книжный шкаф и тотчас вспомнил,

что ему предстоит еще уборка. Он бодро прошел в соседнюю крошечную комнату, предназначенную для спальни, переоделся и, вернувшись, занялся уборкой, для чего вытащил из стола все ящики, битком набитые всякими безделушками и бумагами, а из кухни перетащил с десятка свечных ящиков с книгами.

Письменный стол он убирал с особою тщательностью, как иная девица убирает свой туалетный стол, и в этом отчасти сказывался его характер. А характер у него был прекрасный! Кажется, не было такого человека, который, познакомившись с ним, не полюбил бы его за его открытое сердце, за его громкий, искренний смех, за прямой взгляд его больших серых глаз. А может быть его любили и за то, что сам он всех любил и причиненного ему зла никогда не помнил. Испытав в молодости борьбу и лишения в таком горниле, как Петербург; без всякой поддержки прожив годы университетского учения, служа в одном из министерств уже шестой год без всякого движения, в то время, как другие, гораздо менее его способные, перегоняли его, Федор Андреевич к 30 годам жизни сумел сохранить в своей душе веру в людей и всегда с горячим убеждением говорил, что в своей жизни ни разу не встречался с дурным человеком. Знакомые слушали его с ласковой, снисходительной улыбкой и качали головами, а, отходя от него, переглядывались и чуть заметно пожимали плечами.

Федор Андреевич был поэт, но не из тех, которые считают себя призванными нести на своих раменах все бедствия мира и потому вечно ноют; не из тех, которые, считая себя пророками, бичуют порок и проповедуют прописные добродетели, а просто – поэт, в рифмованных звуках изливавший впечатления своей души. И все казалось ему прекрасным и радостным. Тем более люди. Среди окружающих его не было ни глупых, ни злых, ни корыстолюбивых, ни завистливых, и, если ему случалось слышать осуждение того или другого поступка своего ближнего, он всегда находил ему оправдание. Даже лица, встречавшиеся на улице, казались ему всегда симпатичными и добрыми. В то же время Федор Андреевич не был глуп, как думали некоторые из его знакомых. Нет, это было просто свойство его души видеть в человеке, прежде всего, его хорошие стороны.

Когда Федор Андреевич закончил уборку, было уже 12 часов ночи. Он довольным взглядом оглядел свой письменный стол, ярко освещенный кабинетной лампой и теперь прибранный; посмотрел на шкаф, за стеклом которого строгими рядами вытянулись корешки книг; на этажерку с журналами и бумагами, – и устало, потянулся.

Потом, совершив свой ночной туалет, он загасил лампы и вошел со свечой в спальную, где тотчас и улегся в постель. Но едва он загасил свечу и плотнее закутался в одеяло, как произошло нечто удивительное...

Прежде всего, ему показалось, что в соседней комнате мелькнул свет. Он торопливо встал, думая, что одна из ламп не погасла; но в комнате было совершенно темно и торжественно тихо. Он улегся, и тогда до его слуха явственно донеслось шарканье туфель. Они были, вероятно, без задков, и, время от времени, в тишине слышался стук набоек.

Федор Андреевич снова встал, зажег свечу, вышел в соседнюю комнату, крошечную переднюю, прошел по коридору в кухню и вернулся назад. Везде было тихо и пусто, только в кухне за дровяным ящиком суетливо бегали мыши.

Федор Андреевич не был ни труслив, ни суеверен. Это странное шарканье он приписал акустическим свойствам своей квартиры и спокойно улегся снова в постель.

Но едва он погасил свечу, как в коридоре раздались опять те же звуки. Как будто кто-то вышел из кухни и медленной, старческой походкой шел по коридору к передней. Федор Андреевич невольно откинул одеяло и насторожился. Темнота начинала пугать его. Он встал, поднял занавеску и опять улегся.

"Теперь гуляй", – усмехнулся он, взглянув на бледную полосу света, которую проложил яркий месячный луч. Луч шел вдоль стены, освещая стул против кровати, платяной шкаф, до самого угла, где стоял умывальник.

Федор Андреевич закрыл глаза. А туфли шаркали... они уже прошли коридор, прихожую, шаркают по соседней комнате и, наконец, здесь, подле кровати.

Федор Андреевич открыл глаза и вдруг с легким криком поднялся и сел на постели. Он почувствовал, как кожа стягивается у него на черепе, шевеля волосы, и по спине пробегает холодная дрожь.

То, что он увидел, показалось ему до невероятности странным. В полосе света мимо него, шаркая туфлями, прошел маленький, сморщенный старик в пестрой ермолке и халате; он дошел до стула и сел на него, прямо против кровати. Сел, положил желтые руки себе на колена, и впери тусклый взор в Федора Андреевича, который в этот миг со своим бледным испуганным лицом сам казался выходцем с того света.

И они молча смотрели друг на друга в голубоватом сиянии лунного света...

Виденье стало казаться Федору Андреевичу реальным. В слабой, скорченной фигуре старика не было ничего демонического, а его тусклый взгляд был совершенно безобиден.

Федор Андреевич слегка оправился, но не мог еще совладать с своим голосом и хриплым шепотом спросил:

– Кто вы и что вам надо?..

– Вы мне будете помогать; я – вам... Я вам много хорошего сделаю! О! – ответил дребезжащим голосом старик, хотя фигура его осталась неподвижной, а сморщенное лицо мертво-покойно.

– Кто же вы? – повторил уже явственнее свой вопрос Федор Андреевич.

– Я? Карл-Эрнест-Иоганн-Фридрих Пфейфер, аптекарь.

– Как вы попали сюда?

– Я? Я тут шестнадцать лет! Мне нет покоя. О, шестнадцать лет! Биль здесь много людей, глухих людей. Я ходил на всех. Все боялся. Глухие люди! Ви мне будете помогать, я вам. Я от вас покой иметь буду. О, шестнадцать лет... на ногах... здесь... ужасно!.. – И в крошечной комнате послышался как бы вздох.

– Как же я дам вам покой? – спросил Федор Андреевич и опустил на подушки, приняв полулежачее положение.

– Ви вынимайте меня! У меня есть штук! О, какой! Я буду открывать вам, а вы меня – вон.

– Откуда?

– Здесь! Шестнадцать лет здесь... Карл Иваныч Шельм... о, самый настоящий Шельм! У него аптек, хороший аптек на Гороховой, и он – таракан! О, хитрый шельм!..

– Я ничего не понимаю, – с недоумением произнес Федор Андреевич.

– О, это длинный историй. Я вам буду рассказывать. Вот...

В это время где-то за стеной часы глухо пробили три, и старичок вдруг заволновался. Очертания его стали бледнеть, расплываться; вместо старичка появилось бледно-светящееся облако, которое медленно растворилось в воздухе...

Раздался оглушительный звонок, от которого Федор Андреевич проснулся и вскочил с постели. Зимнее солнце ярко светило в его окошко. Он взглянул на часы. Стрелки показывали 10. Наскоро накинув на себя пальто, заменявшее ему халат, Федор Андреевич отворил дверь и впустил дворника, которого вчера еще договорил прислуживать по утрам, а потом снова лег в постель, чувствуя, что не выспался. Сон или видение продолжало как-то странно беспокоить его.

По коридору стучали сапоги дворника, из кухни доносилась его возня с самоваром. Потом он вошел в спальню с охапкой дров, уложил их в печь и, присев на корточки, стал разжигать поленья.

– Послушай, – заговорил Федор Андреевич, – тебя как звать?

Дворник обернул к нему свое молодое безбородое лицо и ответил:

– Иван!

– Скажи, пожалуйста, Иван, отсюда давно съехали прошлые жильцы?

– А што? – и Иван как-то странно взглянул на Федора Андреевича.

– Да так спрашиваю. Давно?

– Месяц, как съехали.

– А долго жили?

– Жили неделю... задаток зажили.

– А раньше были жильцы?

– Были.

Дворник отвечал как-то неохотной каждый раз после ответа с удвоенным старанием начинал дуть в печку.

– И жили тоже неподолгу? – продолжал допытываться Федор Андреевич.

– Всяко было...

– Ну... самое большее?

– Месяц жили.

– А больше?

– Больше не жили.

– Почему же уезжали?

Дворник раздул пламя и поднялся с полу. При последнем вопросе он усмехнулся и ответил:

– Боятся, слышь! Говорят, будто неладно тут, старик какой-то бродит. Ну, и пугаются.

"Значит, не сон», – решил Федор Андреевич и, заперев дверь за дворником, начал одеваться, – выходит, у меня квартира с привидением..."

В 12 часов Федор Андреевич надел шубу и пошел на службу. Когда он окончил составление бумаг, часы уже пробили пять, и служащие, торопливо прощаясь друг с другом, вереницею потянулись по коридору к лестнице.

– Федор Андреевич! – раздался оклик начальника отделения.

Федор Андреевич быстро встал и прошел в комнату своего начальства.

Чемоданов движением головы указал ему на стул и заговорил скрипучим голосом:

– Я вас пригласил, чтобы порадовать. Вы давно у меня служите и остаетесь, собственно, без движения. Так вот...

Он побарабанил пальцами по столу и продолжал:

– От нас Якова Валентиновича берут. В финансовое отделение... так я решил ходатайствовать о вас. Думаю, что вы оправдаете мой выбор...

Федор Андреевич покраснел от удовольствия и торопливо ответил:

– Я никогда не манкировал службою, теперь же... поверьте... всегда... – он сбился и замолчал.

Чемоданов изобразил на своем лице нечто вроде улыбки и сказал:

– Ну, и отлично! Только до поры до времени это секрет!

Он протянул руку Федору Андреевичу, и тот вышел из его кабинета сияющий, как праздник.

В коридоре с ним сравнялся Жохов.

– Что это ты такой?

Федор Андреевич не удержался.

– Повезло сегодня, – сказал он радостно, – у нас, оказывается, Горлова переводят; так Чемоданов меня на его место!

– Тебя?! – вспыхнув, воскликнул Жохов, но тотчас сдержался и, дружественно хлопая его по плечу, сказал: – Отлично! Поздравляю! Куда же его переводят?

– В финансовое отделение!

– Это к Сербину? А! Чемоданов уже просил за тебя?

– Нет, собирается.

– А! Собирается. Ну, поздравляю, дружок, поздравляю! Ты не болтай только никому! – тихо прибавил он и подошел к вешалкам.

Федор Андреевич дружески кивнул ему и стал поспешно одеваться.

Был вторник, и он обедал у Чуксановых. Проезжая мимо кондитерской, он остановился и купил коробку конфет. Чуксановы жили на Петербургской стороне, в собственном, очень хорошеньком домике. Все семейство состояло из отца, матери, дочери и сына, и, понятно, для Федора Андреевича вся притягательная сила заключалась в дочери, хорошенькой Нине Степановне, которая два года, как окончила гимназию и ходила от нечего делать на музыкальные курсы. В этот, день он, по обыкновению, провел прекрасно у них время. После обеда старики пошли отдохнуть, а он остался вдвоем с Ниной. Нина играла. Свет лампы, прикрытый абажуром, слабо освещал комнату. В комнате было тепло, уютно, и искусная игра Нины погружала ум в сладкую мечтательность. Федор Андреевич не сводил с нее глаз. Она сидела прямо, с устремленным вперед недвижным взглядом, и ее изящный профиль казался драгоценной камеей на темном фоне обоев.

Федор Андреевич слушал музыку, до него доносился мерный звук колоколов, призывавших к вечерне, и сердце его переполнялось нежностью. Ему хотелось плакать и молиться, упасть перед Ниной на колена и целовать ее руки, – но в комнату, шаркая туфлями, вошел Степан Африканович, и очарование сразу разрушилось.

Все же, когда, напившись у них чаю, Федор Андреевич направлялся домой, сердце его было полно мыслями о Нине.

Придя домой, он переоделся, сел к столу и торопливо набросал:

Люблю тебя все жарче и сильнеей
За прелесть дум, навеянных тобою,
За чистоту молитв моих порою
Все за тебя в безмолвии ночей;
За те мечты, которые рождались
В моей душе под взором милых глаз,
За слезы те, что часто проливались
Все за тебя в вечерний тихий час...

Он перечел стихотворение и задумался. Перед ним, как живая, стояла Нина, и он любовался ею, стараясь проникнуть в ее душу. "Любит или не любит"? – думал он про нее, и ему казалось, что любит.

С этими мыслями он лег в постель и загасил огонь.

В середине ночи он вдруг проснулся, чувствуя на себе чужой взгляд, и тотчас вспомнил прошлую ночь. Быстро повернувшись на другой бок, он увидел прямо перед собою, на том же стуле, что и вчера, того же старика. Он сидел так же неподвижно, положив бледные руки на колена и устремив перед собою тусклый взор.

Странная вещь! Федор Андреевич на этот раз не испытал решительно никакого страха и чувствовал себя совершенно спокойно, словно пришел к нему самый задушевный приятель.

– Здравствуйте, – приветливо сказал Федор Андреевич. – Ну, сегодня вы, вероятно, расскажете мне свою историю?

Старик чуть заметно кивнул головой и в комнате раздался тихий голос.

– О, ја! Эту ночь мы успеем. Вот. Слушайте.

Федор Андреевич приподнялся, подбил себе под бок подушку и облокотился на руку, а старик медленным, ровным голосом, без малейшей интонации, начал свой удивительный рассказ, довольно сбивчиво, но все-таки настолько ясно, что сущность его можно было усвоить.

– Это странный дель, – заговорил он, – и вы может не верить, но я буду доказывать вам и дам такой талисман. Да! Ви может себе карьер делать и будете для всякий особ очень приятный господин. Да!

– В чем же дело? – перебил его Федор Андреевич.

– Дель? Большой дель! Я биль у мой дядя, Густава Пфейфер, в аптек, и я много ушился, а потом занимался тайной наукой, и у меня била книг. О, какой книг! Я ее шитал и звал Мефистофель, и он мог все делать: элексир делать, помад, красок. Все!.. И биль еще аптекарь. Карл Иваныч Шельм. О, настоящий Шельм! Да! И у дяди била Эмма, дочь, фрейлейн Эмма...

В комнате пронесся протяжный вздох.

– Вы любили ее? – спросил Федор Андреевич.

– О, ја! Я давал за нее душу и хотел жениться и дядя давал с ней аптек и говорил: "Я отдыхать буду!" Только, он говорил, что надо что-нибудь изобретать такое... и я думаль, много думаль, и говорил Шельм. Он говорил: "Я твой друг!" – и я верил! Я говорил ему про тайный наук, про свой книг, и он говорил: "Фридрих, мужайсь!", и я мужалсь. Да! Я доставал себе слюн сатаны. Да. И делал кристаль!

– Что? – изумился Федор Андреевич.

– Слюн от шёрт. Мефистофель! – ровным голосом ответил старик. – Когда на земле бывайть очень худой шеловек, и ему удивляйтся даже шёрт, он плюет ему в глаза. Тьфу! И тогда тот делайтся гросс канайль! Он видяйт все души, как в зеркал, и делайть, чтобы бить приятным. Тот любит лесть, и канайль ему льстит; тот любит, чтобы всех ругайть, и канайль всех ругайть, и тогда нравится и идет. Выше, выше! Генерал! Такие есть. Много! Им шёрт в глаза плевал. Тьфу...

– И вы?..

– Вот, – ответил старик, – я читал свой книг и узналь, как можно удивить шёрт, и он плевал. Я собирал и делал большой кристаль и потом хотел толочь в ступке и продавайть. И всякий, кто хочет быть канайль и делать карьер, покупайт и видит шеловета насквозь и делайть все, что нравится. Да!.. И я биль рад и бросился на шей Шельм и кричал: "Милый Карл, я достал слюн сатаны!" И он целовал меня, и ми оба плакал и пили пиво. И я утром хотел идти говорить дяде и брать за собой Эмму и сиял. И пришел Карл и кричал: "Отдай кристаль!", а я спрятал кристаль. И он меня убиль, положил в стен и замазаль. Да!

В комнате опять пронесся вздох.

– И вы в стене? – испуганно спросил Федор Андреевич.

– Ја! В стене! 16 лет! И все на ногах. Я в землю хочу, лечь! Он досталь мой книг и шитал ее и заговорил меня, а потом женился на Эмме и теперь нет Пфейфер, а есть Шельм. Аптек Шельм!

– И он взял кристалл?

Что-то вроде смеха послышалось со стороны старика.

– О, нет! Кристаль лежит, а Шельм его ищет. Он приходит каждый ночь и шарит везде.

– Приходит? Куда?

– Здесь! Он идет, потом – пфа! Делается таракан и ищет! Везде ищет! До полночи ищет, а потом – пфа! Снова Шельм и идет в аптек. 16 лет ищет! Ви мне теперь будьте помогайт, а я вам кристаль дам! Да! Ви будете карьер делайть!..

– Как же я могу помочь вам; я не знаю! – с чувством разочарования сказал Федор Андреевич.

– О, пустяк! Вовси пустяк! Легкий штук!

– Но как?

– Ви будете ловить...

– Я? Аптекаря?!

Федор Андреевич даже приподнялся в постели.

– Ну, ну! Только тогда, как он станет таракан. Пфа – и в коробочка!

Федор Андреевич кивнул.

– И потом что?

– Все! 12 часов, он не Шельм – и заговор нет! Я буду свободный! Кристаль у вас! Все!

– Но, ведь, вы... убитый?.. Мертвец! – с недоумением произнес Федор Андреевич.

– Я? Нет. Дюша нет. Тело...

– А оно куда денется?

– Я уношу его и брошу...

И что-то вроде смеха послышалось в комнате.

За стеной раздался медлительный бой часов.

– Ловите таракан! Ловите! Кристаль ваш! – словно вздох пронеслось в воздухе, и опять вместо старичка образовалось бледное светящееся облако, которое медленно расплылось по комнате.

И едва он скрылся, как Федор Андреевич облегченно вздохнул, с недоумением обвел комнату взглядом, и все происшедшее показалось ему бредом.

Слюна сатаны, заклятие, два аптекаря, таракан, душа, убирающая тело...

Федор Андреевич заснул со скептической улыбкой на губах.

Но скептицизм его скоро кончился. Из ночи в ночь старик не давал ему покоя, справляясь об успехе его ловли, и каждый раз просиживал на стуле до урочных трех часов, оглашая комнату протяжными вздохами. Это становилось тяжело, и однажды Федор Андреевич твердо решил приняться за ловлю. Укрепил же его в этом решении, главным образом, Яков Фомич Чрезмыслов, которого он часто встречал на четверговых вечерах у Ивана Антоновича Хрипуна.

Яков Фомич Чрезмыслов был довольно даровитый архитектор, но занимался не столько архитектурой, сколько спиритизмом. Он был знаком с Бутлеровым, Вагнером, Аксаковым, Прибытковым, присутствовал на сеансах с Евсанией Палладино, со всеми медиумами, включительно до Самбора и Яна Гузика, и верил всему, включительно до гомеопатии.

Невысокого роста, полный, с мясистым лицом, на котором росла редкая щетинистая борода, щеки которого отвисали почти до плеч, а маленькие серые глаза прятались под угрюмо нависшими бровями по сторонам красного, изрытого оспою носа, – он походил на того странного духа, вызванного лампою Алладина, которого можно видеть на картинке в детском издании «Тысячи и одной ночи».

Федор Андреевич чувствовал к нему всегда невольное почтение и, в виду его близкого знакомства со всем таинственным, решил узнать его мнение относительно всего, происшедшего с ним. Он улучил минуту, когда Чрезмыслов, погруженный, быть может, в созерцание душ на планете Юпитере, одиноко сидел в углу хозяйского кабинета, и, подойдя к нему со своею открытой улыбкой, присел на соседнее кресло и заговорил с ним робким голосом ученика, жаждущего поучения от учителя.

– Простите, Яков Фомич... Я может быть нарушил течение ваших мыслей, но мне хотелось бы узнать...

Яков Фомич медленно поднял лохматые брови, вяло взглянул на Федора Андреевича и глухо произнес;

– Сделайте одолжение, – после чего опять опустил брови и словно задремал.

– Скажите, пожалуйста, Яков Фомич, возможно ли, действительно, появление человека в его земной оболочке, спустя 16 лет после его смерти, в том же халате и туфлях? – спросил Федор Андреевич и даже слегка нагнулся к Чрезмыслову в ожидании от него ответа.

– Вполне, – равнодушно ответил Яков Фомич. – К одной вдове являлся покойный муж в домашнем пиджаке. Она помнила, что у пиджака не было двух пуговиц. И что же? Они оказались пришитыми!

– Что их побуждает посещать живых?

Яков Фомич пожал плечами.

– Разные причины, – ответил он, – иногда обещанье, иногда тоска по любимым людям, но чаще что-нибудь невыполненное при жизни. Также бродят души непогребенных. Например, один нотариус, почтенный господин С...

Федор Андреевич вздрогнул и не расслышал рассказа, занятый своими мыслями. Чрезмыслова он считал авторитетом, и тот безошибочно указал на причину появления старика.

"Значит, есть что-нибудь", – мелькнуло в уме Федора Андреевича, а Чрезмыслов продолжал свои удивительные рассказы вплоть до того момента, пока Хрипун не пригласил их к ужину.

Федор Андреевич сел рядом с Чрезмысловым и, когда подали десерт, передавая грушу Якову Фомичу, спросил его:

– Скажите, в тех случаях, когда эти привидения указывали на что-нибудь, передавали что-либо, бывали обманы с их стороны, мороченье?..

– Никогда! – резко ответил Чрезмыслов. – Капитан корабля Ф. увидел однажды в рубке утонувшего три года назад повара. Он являлся три раза и потом сказал ему...

В это время Иван Антонович склонился между ними и налил им малаги. Но Федору Андреевичу и не важно было окончание рассказа. Решение его созрело.

Поймать таракана! Это не представляет никакой трудности, если тараканов за печкою и на полках в любой кухне несметные легионы, но поймать из них одного и именно того, который будет указан, – это уже задача.

А ко всему, если еще таракан этот обладает умом взрослого да изворотливого человека? При этой мысли Федор Андреевич совершенно терялся.

Вернувшись от Хрипуна, он лег, думая о поимке таракана, когда над его ухом раздался голос старика: "Лови при выходе!"

Федор Андреевич быстро открыл глаза. За стеной пробило три часа. Как не пришла самому ему эта простая мысль! Ведь, только один таракан уходит из квартиры в 12 часов ночи, чтобы за порогом двери обратиться в Карла Шельма и вернуться в свою аптеку!

Встретясь в министерском коридоре с Хрюминым, которого считал своим товарищем, он взял его под руку и, смеясь, сказал ему:

– Хотел бы ты, Ваня, получить в дар способность видеть человеческую душу?

Хрюмин хихикнул и махнул рукою.

– Нет, на что мне эта способность!

– Как? – удивился Федор Андреевич. – Ты, встретившись с человеком, сразу узнаешь, что он такое: добрый или злой, умный, глупый, жадный; все мысли его!

Хрюмин засмеялся и завертел головою.

– Чушь, чушь! – сказал он. – И какая мне польза в этом.

Но Федор Андреевич смотрел на это иначе.

– Ах, Ваня! А по-моему это величайший дар. Ты будешь знать все, все... Что иной таит даже от себя, ты узнаешь: заботы, огорчения; то, что мучает иной раз душу человека, – все будет перед тобою, как в зеркале! Когда я получу эту способность...

Тут Хрюмин замахал руками, завертел головою и захихикал.

– Ну, зарпортовался, зарпортовался! Перестань!

Федор Андреевич спохватился и замолчал, но в это время к ним подошел Жохов и снисходительной улыбкой спросил:

– Чему вы тут смеетесь?

Хрюмин, продолжая смеяться своим жиденьким смехом, махнул рукою:

– Да вот! Федя хвастает, что скоро получит дар видеть насквозь души своих знакомых.

Лицо Жохова вспыхнуло, и он завистливо и недоверчиво посмотрел на Федора Андреевича.

– Правда? Ну, и везет тебе!

Федор Андреевич смутился.

– Я пошутил, – сказал он. – А ведь хорошо бы?

Жохов энергично кивнул.

– Еще как! Что бы сделать можно было, беда! – и он встряхнул головою.

– А что?

Жохов даже удивился.

– Что? Все! – ответил он и с горячностью заговорил. – Ведь тогда бы у меня всякий в руках был! У иного на душе пакостей всяких... я их все знаю. Иной только и думает о своей красоте... я знаю. Подхожу к директору, читаю в его душе и жарю, как по писаному, – все в точку! Каждое слово маслом по сердцу! А ты: что? Да все можно сделать!..

Мысли о таракане не давали Федору Андреевичу даже заниматься как следует. В голове то составлялся план поимки таракана, то мелькали мысли, как он с кристаллом придет к Чуксановым и узнает, любит ли его Нина. Потом он пошел к себе спать и, выспавшись, снова вышел из дому выпить чаю и приготовить все необходимое для ловли. План уже созрел в его голове.

Он купил кнопки и паточки. Был уже девятый час, когда он возвращался домой, и вдруг на лестнице, на один марш выше, он увидел того же толстяка, которого видел в первый вечер своего новоселья. В той же шубе с скверным меховым воротником, в том же котелке на огромной голове, также пыхтя и отдуваясь, этот господин медленно полз вверх по лестнице.

"Он!" – словно молнией сверкнуло в голове Федора Андреевича, и он замедлил шаги и затаил дыхание.

Как и тогда, в первый вечер, толстяк поднялся на третий этаж, и почти тотчас на лестнице воцарилась тишина: шаги смолкли, пыхтение пресеклось, и только вверху где-то тихо замыкала кошка.

"Он!" – уже с полной уверенностью сказал Федор Андреевич и, весело улыбаясь, вошел к себе.

Переодевшись, он зажег лампы и принялся за работу. Работа была пустая. Он брал листы бумаги, резал их полосами вершка в два и густо смазывал паточкой. Потом он пошел в переднюю. Здесь работы было больше. Он разложил полосы у самого порога на полу и прикрепил их кнопками; с помощью тех же кнопок укрепил такие же полосы по стенам около косяков и, наконец, по потолку, над дверью. Словом, окружил дверь со всех четырех сторон сплошным бордюром.

– Пусть перелезет, – усмехнулся он, старательно еще раз размазывая паточку.

Окончив все приготовления, Федор Андреевич ничего уже не мог делать. Он раскрывал книги любимых поэтов и громко начинал декламировать их стихи, но через минуту бросал их и хватался за перо, потом вставал, тревожно ходил по комнате и, наконец, упав на диван, замирал в ожидании, а через несколько мгновений снова бегал по комнате.

Хаос мыслей наполнял его голову. Невозможное казалось возможным, фантастическое становилось реальным. Он представлял себе, как на его глазах Шельм из таракана обращается в толстого немца, и при этом думал: "Куда же он прячет пальто и шляпу?" Он представлял

себе волшебный кристалл, так сказать, материализованную слюну сатаны, но тут его мысли останавливались...

Целый мир, новый, неизведанный, открывался перед ним! Что тайны моря заоблачных миров или неведомых стран? Перед ним, Федором Андреевичем, откроются тайны человеческих душ! И в его уме складывались поэмы, повести, романы...

Бегая по комнате, он подошел к столу, взглянул на лежащие на столе часы и вздрогнул: на часах было уже половина первого. В первый момент у него подкосились от волнения ноги, но он быстро оправился, схватил свечку и выбежал в переднюю. Громкий крик огласил комнаты, крик торжества. У притолоки направо, аршина полтора от пола, на полосе бумаги, тревожно двигая усами, сидел приставший к патоке таракан. Большой, черный, он беспокойно подымал голову, делал попытки двинуться, но тягучая патока удерживала его, и он только шевелил своими длинными усами, словно протягивал с мольбою руки.

– Не уйдешь, приятель! – радостно проговорил Федор Андреевич, осторожно снимая полосу бумаги и неся ее в комнату. Там он положил ее на обеденный стол и прикрыл опрокинутым стаканом. Края стакана врезались в густую патоку, а он для верности еще нажал сверху ладонью.

– Ну, фон-Шельм, обращайтесь в аптекаря! – громко сказал он.

Таракан, ничего не ответив, по прежнему водил по воздуху поднятыми усами. Федор Андреевич почувствовал нечто вроде разочарования. Он уже приготовил ряд вопросов Шельму, но превращения никакого не происходило и таракан, видимо, изнемогая, начинал мириться со своею участью. Федор Андреевич со вздохом обругал себя дураком и пошел в спальню.

Но едва он лег и загасил свечу, как перед ним явился старик. На этот раз он не был мертвенно неподвижен, напротив, он торопливо прошлепал туфлями, почти вбежал в комнату и, не садясь на стул, заговорил.

– О, благодарю! Кристаль ваш! Только еще одно!

– Что еще? – недовольно сказал Федор Андреевич. – Таракана поймал, – самый обыкновенный, черный. Никакого Шельма нет, как и кристалла. Подурачили меня и довольно! Идите!

– О! о! о! – застонал старик и завертелся на месте. – Тогда я пропаль! Время только до трех часов! Я не успею! О, сжался, молодой шеловек! Пожалста!

– Что еще?

– Меня надо выйнуть, открыть! Я сам не могу, я отдам кристаль! Пожалста! – его голос звучал томительной мольбою.

Федор Андреевич спустил с постели ноги, всунул их в туфли и сказал:

– Что надо делать?

– О, благодарю вам! – радостно ответил старик. – Идите за мной, здесь, и вскрывайте стен. Раз, два! Скорее!

– Позвольте! Я не кошка, чтобы в темноте шарить, – уже раздраженно ответил Федор Андреевич, – я зажгу свечу!

– О, ја! – сказал старик, тряся головою, запахиваясь в халат и видимо волнуясь, – зажигайт! Я буду вам указать! Пожалста!

Федор Андреевич чиркнул спичку и зажег свечу.

– Кой черт? – выругался он, изумленно оглядываясь. – Я брежу!

В комнате никого не было. Но в тот же миг, словно порыв ветра подхватил Федора Андреевича, и он, схватив свечу, быстро встал и торопливо пошел через комнату, переднюю, по коридору, в кухню, поставил там на холодную плиту свечу и остановился опять в недоумении. Но это состояние продолжалось менее мгновения. Его взгляд упал на оставленный у плиты дворником топор; он быстро нагнулся, взял его, твердо подошел к стене и нетерпеливо, энергично стал выламывать из нее кирпичи.

"Бум, бум, бум", – глухо раздавались удары в ночной тишине, и потом с шумом сыпались на пол известка и щебень. Кирпич выпадал за кирпичом, известка сыпалась непрерывным потоком, пот ручьями лился по лицу Федора Андреевича, а он упорно ломал стену, вывертывая кирпич за кирпичом. И при колеблющемся пламени свечи, в одном белье, с покрасневшим от усилия лицом, осыпанный известью, он казался безумным, нанося тяжкие удары топором в стену. Вдруг, под влиянием непонятно мелькнувшей мысли, он отбросил топор в сторону и начал вынимать кирпичи руками. Перед ним открылась ниша, заслоненная широкой доской. Он рванул доску, та с грохотом упала, и Федор Андреевич увидел старика. Он стоял недвижно, прислоненный к стене. Волосы зашевелились на голове Федора Андреевича, он сделал шаг вперед. Это был не старик, а высохший скелет, державшийся только на позвоночнике, одетый в истлевший халат и покрытые плесенью туфли. От легкого сотрясения скелет дрогнул, желтый череп качнулся, словно кланяясь; позвоночник изогнулся, и кости с сухим шелестом попадали друг на друга.

Федор Андреевич отпрянул в сторону, споткнулся, закричал диким голосом и повалился без чувств на пол.

Он очнулся при сиянии солнечного ясного утра. Над ним, склонившись, стояли старший дворник и подручный Иван.

– Жив! – радостно закричал Иван, и Федор Андреевич, слабо улыбнувшись ему в ответ, сделал попытку встать, но ломота во всех костях тотчас заставила его снова опуститься на пол.

– Угорели, видно! – участливо сказал старший дворник, коренастый мужик с черной бородою лопатую. – Ну да, слава Богу, живы остались! Мы думали: помер барин. Иван-то прибег, бледный! Дверь, грит, отпертая, и барин забит лежит!

– А ен жив! – радостно воскликнул Иван и улынулся во весь рот.

– Вероятно, угорел, – слабым голосом ответил Федор Андреевич, – помогите мне, братцы, до постели добраться. А ты, Иван, приготовь мне чаю.

– С нашим удовольствием!

Дворники подхватили его и осторожно повели в спальную. Уходя, он невольно оглянулся на стену. Она была цела, на полу – кроме щепок – не было никакого мусора...

– Ну, вы! Чего налезли? Пошли прочь! – вдруг закричал старший дворник.

С лестницы в переднюю натолкался народ. В самой передней стояли кухарки с мешками для провизии и горничные с корзинками для булок; из-за них выглядывала рыжая голова девочки; дальше, поднявшись на цыпочках, тянулся мальчишка из лавки с корзинкой на голове, а впереди всех какая-то облезлая собака жадно и старательно слизывала пятачок с полосок бумаги у порога.

– Я вас ужо! – пригрозил, проходя мимо, дворник и, оставив Федора Андреевича на попечении Ивана, бросился назад исполнять свою угрозу. Голоса смолкли, и дверь с шумом захлопнулась. Иван осторожно, на цыпочках, прошел в кухню, а Федор Андреевич остался лежать с закрытыми глазами.

Что это было? Сон, кошмар, нервный припадок?.. Но он отчетливо помнит и удары, наносимые стене топором, и шум обваливающейся штукатурки и, наконец, страшный оступ, на его глазах развалившийся. А эта ломота в руках? Не есть ли она результат усталости? Он открыл глаза и, взглянув на свои руки, с недоумением качнул головою. На их ладонях ясно обозначались по два пузыря, несомненно, натертых топором, а вся тыльная сторона правой руки была испещрена мелкими ссадинами от осколков.

Что-то было, но что?..

В это время Иван внес в спальную стакан чая и сахар. Стараясь ступать как можно осторожнее, он шел словно по канату и стакан на блюдце, от его напряженного внимания, дрожал

и прыгал с явной опасностью хлопнуться на пол. Но Иван преодолел все трудности, поставил стакан на придвинутый им стул и выпрямился со вздохом облегчения.

– Полегчало? – спросил он участливо, встретив взгляд Федора Андреевича.

– Да, совершенно, – ответил он, – я выпью и засну немного.

– Ну, слава Богу, – и Иван, поклонившись, осторожно вышел из комнаты.

Федор Андреевич услышал, как стукнула дверь, и стал жадно пить крепкий чай, который видимо возвращал ему силы. Потом он откинулся на подушку и задремал; легкая дремота обратилась в крепкий сон, и, когда Федор Андреевич проснулся, ясный зимний день клонился к вечеру, сумерки серой пеленою уже окутали все предметы, а дальние углы заволокли совершенной тьмой. Федор Андреевич зажег свечу, поднялся и прошел в комнату.

"Таракан, – вдруг мелькнуло в его голове, – может, и это сон"?

Он быстро подошел к столу и нагнулся со свечою. Нет, на столе лежала полоса бумаги, прикрытая стаканом, и под ним находился таракан, но уже без видимых признаков жизни. Он весь лежал в патоке, длинные усы его бессильно вытянулись. Федор Андреевич брезгливо поморщился, но в эту минуту взор его скользнул по столу и глаза засверкали неподдельной радостью: в открытой коробочке из-под пилюль, в розовой вате лежал ярко-сверкающий кристалл желтоватого цвета, величиною с хороший орех.

Федор Андреевич жадно схватил его в руки.

– Спасибо, старик! Не надул, – проговорил он весело и стал рассматривать камень. Он был бледно-желтого цвета, совершенно прозрачный, формы октаэдра. Бледный свет свечи преломлялся в его плоскостях и, дробясь, отражался синим, зеленым и желтым огоньками.

– Спасибо, спасибо, – бормотал Федор Андреевич, продолжая разглядывать странный кристалл; но тут он почувствовал дрожь и вспомнил, что не одет.

Отложив кристалл, он тотчас начал одеваться, в то же время думая: "Однако, как им пользоваться? В глаз такого не засунешь. Вероятно, надо носить в кармане, держать в руке... и что за бестолковый старик!"

Вернувшись из спальни, он снова протянул руку к коробочке, и вдруг увидел под нею аккуратно сложенную бумажку. Он осторожно развернул ее, жадно впился в нее глазами и тотчас с досадою бросил ее на стол.

– На смех, что ли! – проговорил он, взволнованно вставая со стула.

На клочке бумаги ровным мелким почерком было написано: "Положи оный в воду и капни три капли соляной кислоты. Смотри в воду пять минут и получишь силу на двенадцать часов. Растолки оный в порошок и по одной порошинке на глаз дадут вечную силу".

Федор Андреевич радостно засмеялся и вскочив, крепко потер руки. Талисман у него в руках, сила в его власти!..

"Завтра же испробую", – Федор Андреевич бережно взял кристалл, уложил его в коробочку и запер в ящик своего стола.

Проснувшись, чуть не бегом пустился в ближайшую аптеку. Вернувшись с пузырьком соляной кислоты, он аккуратно накапал в стакан воды три капли, положил перед собою часы и, опустив в воду кристалл, устремил на него глаза. Резкая боль заставила его на мгновение зажмуриться, но он снова мужественно открыл глаза и впился ими в кристалл. Кристалл горел всеми огнями; из него словно вылетали искры и острыми иглами подымались кверху; на поверхности воды образовывались крошечные пузырьки; они лопались, и тогда Федор Андреевич ощущал острую резь в глазах, словно от укулов. Потом все заволокло как бы туманом, туман сменился нежным фосфорическим светом; затем вдруг выбросился сноп красного пламени.

Федору Андреевичу показалось, что он ослеп.

Он откинулся и долго сидел, прикрыв рукою глаза, которые ныли от боли; но боль, наконец, прошла. Федор Андреевич взглянул на часы: прошло всего 10 минут, которые показались

ему добрым часом, и он с радостным чувством сознания таинственной силы уселся к столу, на который Иван поставил уже кипящий самовар. Взял в руки газету. Взгляд его случайно упал на последнюю страницу, и он вдруг побледнел, и на лбу его выступил холодный пот. В черной рамке, первым в ряду объявлений об умерших, он прочел: "Вдова и дети с глубоким прискорбием извещают родных и друзей о внезапной кончине Карла Ивановича Шельма, последовавшей в ночь с 6 на 7 января от удущья".

"Убийца! – чуть не вскрикнул Федор Андреевич, отбрасывая газету, и, в волнении вскочив со стула, стал ходить по комнате. – Накрыл стаканом, когда знал, что там человек! Раз вздохнул и готово!.."

"Но я же до последней минуты был убежден, что это таракан! – возразил он тотчас же. – Какой? до этого мгновенья!"

"О, проклятый дар! Он, он, Федор Андреевич смог убить человека? Ха-ха-ха!"

Он остановился посреди комнаты и сжал голову руками.

"Одни сутки – и сколько ужасов!.."

Он бессильно опустил на стул и рассеянно взглянул на газету, взглянул и опять вздрогнул. Тут же, на последней странице, в отделе "Хроника"; он прочел:

"Загадочный случай. Сегодня утром на набережной Обводного канала, у Забалканского моста, был усмотрен заочневший труп старика, одетого в ветхий халат и туфли. Тут же случившаяся старуха, Анисья Козырева, прачка по ремеслу, признала в нем одного из своих давнишних клиентов, некоего Фридриха Густавовича Пфейфера, который лет 16 тому назад бесследно исчез из своей квартиры. Полиция деятельно принялась за расследование этого странного происшествия. Полуразложившийся труп предали погребению".

Федор Андреевич сидел, как подавленный, без движения, без мыслей. Чай давно простыл в стакане. Самовар шумел, пытел, потом жалобно пискнул и начал медленно остывать, а он недвижно сидел, и только прерывистое дыханье свидетельствовало об его волнении.

Наконец, он встал, глубоко вздохнул и провел рукою по лицу.

Если все так случилось, значит, так было суждено. Все происшедшее столь невероятно, что, очевидно, добрая или злая его воля не могли ни на волос изменить событий. Эта мысль несколько успокоила его, и он стал неторопливо собираться: сперва на службу, потом обедать к Чуксановым (при этом его сердце сжалось), а вечером к Хрипуну. Он вышел из дому и медленно направился к министерству, изредка взглядывая на прохожих. По всему пути, от дома до министерства, он не встретил ни одной "души", то есть ни одного человека с чистой радостью, с искренней тоской, с мыслью о ближнем. Самые пустые интересы волновали всех встречавшихся, на первом месте стояла корысть и какая-то беспощадная ненависть ко всем другим. Встретился студент с ясным, улыбающимся лицом, и оказалось, что он думал о ловкой проделке: он только что послал отцу жалостливое письмо о своей нужде и, уверенный, что отец ему вышлет деньги, рассчитывал, успеет ли он получить их к вечеру у каких-то Сомовых, где будет игра. И Федору Андреевичу вдруг привиделся земский врач на пункте, у него пятеро детей, живут они в избе, и вот, в крошечной комнатке врач грустно читает и перечитывает письмо сына, этого беспечного юноши...

Встретилась красивая женщина с веселым лицом, которая думала: "Наконец-то я заставила Пьера взять взятку! Он говорит: тяжело. Ничего, привыкнет! Все берут!"

Прошел с серьезным, нахмуренным лицом пожилой господин, у которого была одна мысль, похож ли он на действительного статского советника.

Промелькнул озлобленный человек, мысленно назвавший Федора Андреевича скотом за его шинель и цилиндр.

И только последняя встреча рассмешила его. Навстречу шел господин с красивыми баками, в котиковой шапке и меховом пальто. Он выступал как-то особенно важно, куря сигару на морозном воздухе и поднимая вверх нос с золотым пенсне. Федор Андреевич встретился

с ним глазами, увидел самодовольное лицо и тотчас услышал: "А ну-с, Аграфена Петровна, угадайте-с: барин пришел к вам, али евоный лакей. Наше вам-с! Силь ву пле!"

Федор Андреевич невольно рассмеялся и с улыбкой вошел в подъезд министерства. Сослуживцы дружески с ним поздоровались. Федор Андреевич взглянул на одного, на другого, на всех по очереди, начиная от старшего помощника делопроизводителя, кончая причисленным канцелярским служителем, и у всех прочел какие-то тревожные, отрывочные мысли: "Что-то будет... как повернет... пожалуй и кубарем... нет, он меня отличал".

– Что-то случилось, чего я не знаю? – сказал Федор Андреевич Тигрову. Тот выпучил на него глаза с неподдельным изумлением, и Федор Андреевич прочел: "Считал я тебя всегда дураком, но не таким!"

"Это он-то? Меня!" – вспыхнув, подумал Федор Андреевич, а Тигров продолжал:

– Не знаете? У нас директора сменили! Назначен Гавриловский, – и, понизив голос, шепнул многозначительно: – в высших сферах интриги! У меня знакомый, знаете (он назвал фамилию одного из министров), так я от него слыхал: в высших сферах интриги! – и он с важным видом выпятил вперед накрахмаленную сорочку: "Пронял! – самодовольно подумал он, – небось, тебе к таким людям и на порог не ступить!"

Федор Андреевич опять вспыхнул и мысленно обругал Тигрова.

В этот день для него, как нарочно, открылось назидательное зрелище. По-видимому, все сидели покойно, углубленные в свои бумаги, или мирно беседующие, но стоило им вскинуть глаза на Федора Андреевича, и тот читал их тревожные, мелочные мысли: кого куда переместит новый директор, кого отличит, кого затрет, кого приведет с собою. Ему становилось противно, словно он сидел в лакейской, и он собрался уже выйти в коридор, когда его позвал к себе в кабинет Чемоданов. Он, не сгибая локтя, подал руку Федору Андреевичу и, пригласив его сесть, скрипучим голосом сказал:

– Я разочарую вас, Федор Андреевич. На вакантное место его превосходительство изволил лично назначить Жохова, и я не мог даже замолвить слона.

"Не стану же я из-за этого франта себе карьеры портить. У того протекции, а этот..." – услышал Федор Андреевич его мысли и торопливо встал.

– Я не так огорчен, Василий Семенович этим. Я, слава Богу, один, и на мой век хватит и теперешнего! – сказал он.

"Врет, но молодец! – подумал Чемоданов. – Напрасно я в угоду Гавриловскому выругал его. Постараюсь загладить. С выдержкой человек!"

– И прекрасно, – проскрипел он, стараясь сделать веселое лицо, – я о вас позабочусь. Еще поработаем вместе!

Федор Андреевич вышел от него со скверным чувством сознания человеческой подлости. Чемоданов ему казался всегда благородным человеком, и он не думал, что в душе, он настолько лакей; Жохов был ему товарищем, и он не ожидал, чтобы тот даже не предупредил его, что перешел ему дорогу. Когда же он проходил через комнату, в мыслях всех своих сослуживцев он прочел какое-то необъяснимое злорадство.

– А, брат Федюха! – приветствовал его Хрюмин, вертя головою. – Что, отшили? Хи-хи-хи!

– Мне-то на это плюнуть, – ответил искренно Федор Андреевич, – но для чего передо мной Жохов ломался? Поздравлял тогда?

– Хи-хи-хи, – завертел головою Хрюмин, – просто скотина он!

Федор Андреевич взглянул на него и вдруг услышал его мысли: "Авось теперь иначе про него подумает да выругает его. А я Жохову скажу. Он в гору идет!"

Федор Андреевич даже вздрогнул. О, мерзость! – хотел он воскликнуть, но Хрюмин в это время, вертя головою, говорил и хихикал:

– Он, каналья, про тебя здесь такие слухи распускает, беда! Что и пьяница ты, и игрок...

– Все вы на одну колодку, – вспыхнув, произнес Федор Андреевич и почти бегом направился в лестнице, не досидев до урочного часа.

Он ехал, закутавшись в шинель, стараясь ни с кем не встречаться взглядами, и душа его кипела от пережитых впечатлений. Сколько мелочности, грязи и подлости представляют души тех, кого он любил и кому он верил. Даже дурак Тигров, которого он всегда отстаивал, считает его дураком. И, правда, дурак! Дурак за эту смешную веру в людей и их добродетели! А впрочем... – и мысли его перенеслись в маленький домик на Петербургской стороне, куда теперь он ехал, чтобы отдохнуть. Вот и Кривая улица, вот и решетка, отгораживающая палисадник. Федор Андреевич быстро вышел из саней, расплатился с извозчиком, прошел между двумя сугробами снега и позвонил у крылечка.

За дверью слышались шаркающие шаги, щелкнул ключ, стукнул крючок, загремела цепь... Он вошел в гостиную в одно время с Ниною, и они дружески встретились на середине комнаты.

"Чем-то недоволен. Опять какая-нибудь сентиментальная чушь", – услышал он, взглянув в ее глаза, а следом раздался ее голос:

– Ну, здравствуйте! Что это вы сегодня каким букою? Огорчены чем-нибудь?

Он улыбнулся. Что же, в ее мыслях было участие к нему, хотя в несколько странной форме, – и он ответил:

– Ничего, кроме того, что я упустил повышение по службе и потерял двух приятелей!

– Умерли?

– Нет, я в них разочаровался.

"Так я и думала! Совершенная размазня!"

Федор Андреевич покраснел.

– Друзья – это еще небольшая потеря, – весело сказала Нина, – а вот повышение... Скажите, что это было за повышение?

Федору Андреевичу больно было слушать ее слова. В ее розовых губках они казались ему циничны. Раньше они казались ему забавны, и он всегда думал, что она говорит такие слова нарочно, чтобы вызвать его на горячий спор. Он коротко рассказал ей и про обещание Чемоданова, и про перемену директора, и про поведение Жохова, – и все время пристально глядел ей в глаза, читая мысли, от которых ему становилось все больней и больней.

"Дурак, прямо дурак, – слышался ему ее насмешливый голос, – ну, что я с ним буду делать? Мама говорит: "переделаешь!" да он всегда таким останется. Рохля какой-то. Ему бы только стишки писать, да восторгаться. У-у! Вот размазня-то!"

– Ну, что же, – сказала она ласково, когда он смолк. – Чемоданов все-таки отличил вас. Времени впереди много!

– Я и не огорчен этим, – ответил он, – мне больно было разочароваться в людях, – и в его голосе послышалась тоска.

"С чего это он?" – встрепенулась Нина и ласково улыбнулась ему.

– У вас еще есть друзья и люди, которые вас любят! – при этом она взглянула на него быстрым лучистым взглядом, и он расслышал: "От этого взгляда сейчас вспыхнет и раскиснет! Знаю!"

Он, действительно, вспыхнул, но не раскис.

В эту минуту в комнату вошла Глафира Илларионовна.

– А! Федор Андреевич! – воскликнула она радостно. – Голубчик мой! Ну, идемте обедать.

Федор Андреевич ласково поцеловал ее руку и поднял голову. Глаза их встретились.

"Что это она ему такого сказала? – услышал он тревожный голос. – Ишь раскис весь! Дура! Говорю: до свадьбы по шерсти гладь. Наверстать успеешь. Дура!" – и она перевела сердитый взгляд на дочь. Федор Андреевич подметил, как она в ответ матери пожала плечами. Холодный пот выступил у него на лбу.

– Идите, идите! – весело говорила Глафира Илларионовна. – Нина, веди его!

За обедом Нина все время занимала его. Рассказала ему про свои сегодняшние занятия, описала ссору двух подруг, сказала, что в книжках "Недели" читала его стихи и так увлеклась ими, что будет просить одного музыканта написать музыку.

– Какие же вам больше понравились? – спросил Федор Андреевич, взглядывая на Нину. "Вот еще! – услышал он, – и вправду вообразил, что я читала его дребедень! Довольно того, что сам читает! Какие же? Ах, да!"

– Лес, – ответила она, – помните: "Лес стоит угрюм и мрачен; не видать тропы знакомой"...

Федор Андреевич поднялся и торопливо стал откланиваться. На лицах матери и дочери отразилась неподдельная тревога.

– Куда вы? – воскликнули они в один голос.

– Я вам сыграю новую пьесу.

– А кофе!?

Но он настойчиво отклонил и кофе, и музыку.

– Я на вас буду целую неделю дуться, – сказала Нина.

– Не выдержит! – сладким голосом произнесла Глафира Илларионовна и лукаво взглянула на Федора Андреевича. "Что это словно он взбесился? Никогда таким не бывал!"

– Послезавтра у нас пельмени. Для вас делаю! – сказала она.

Он выбежал от них, словно у него горели подошвы, и, пройдя с добрую версту с шинелью нараспашку, едва пришел в себя от всего пережитого. Вот, кого он любил и кем восхищался! Проклятый дар!..

Он вошел в свою квартиру, оглянулся кругом, и все показалось ему так уныло, так пасмурно. И в нем самом совершилась перемена. Чувство ужаса, а потом и омерзения сменилось тихой грустью. Собственно, он вкусил от дерева познания добра и зла... Но как же он раньше жил? Дураком, наивнейшим дураком! Размазней!.. Проклятый дар этого прок... этого старишки!..

Хорошо еще, что он не наградил себя этой способностью навсегда. Он бы повесился с отчаянья... Нет, лучше оставаться размазней... если теперь это возможно... Во всяком случае...

Он решительно поднялся, открыл ящик стола, вынул из него кристалл и прошел с ним в кухню. Там, разложив на плите газетный лист, он схватил топор и обухом его растолок в пыль этот проклятый камень, это сатанинское прозрение. Потом вернулся в комнаты и с омерзением торопливо выбросил порошок за форточку. Порошок рассыпался мелкою пылью, и Федор Андреевич вздохнул с облегчением...

В это время под окошком проходили молодые люди, только что вступающие в жизнь. Они возвращались с товарищеской пирушки и продолжали с жаром говорить об идеалах, о торжестве правды, о готовности пострадать за нее; давали жаркие обеты всю жизнь посвятить добру и служению ближнему, – и вдруг приостановились, при свете фонаря взглянули в глаза друг другу и... громко расхохотались.

Николай Мельгунов «Кто же он?»

Я лишился друга. Знавшие его не могут обвинять меня в пристрастии: то был ангел, ниспосланный на землю и отозванный прежде, нежели что-либо человеческое успело исказить его божественную природу. Стоило взглянуть на возвышенное, всегда восторженное чело его, чтобы прочесть на нем неизгладимое свидетельство его небесного происхождения...

Скорбь друзей покойного была невыразима; но из живой и сильной она обратилась постепенно в тихую грусть: печальное и вместе сладостное наследство! Прошло около года после его кончины; наступила весна. Обновленная природа обновила и нас. Сердца наши растворились для радости; миновала и грусть в свою очередь. Житейские удовольствия, мирские заботы стали опять завлекать нас в свои обманчивые сети.

Однажды я пришел в банк и, в ожидании выдачи денег, смотрел на пеструю, движущуюся толпу, которая ежедневно теснится в этом здании. Там встречаются все сословия, начиная от вельможи, закладывающего свое последнее имение, до простого селянина, который кладет в рост избыток своих скудных доходов. Меня развлекало это движение, коего пружиной была потребность денег, денег и еще денег. Двери почти не затворялись; знакомые и незнакомые лица мелькали передо мною: то веселые, то пасмурные, а чаще невыразительные, они появлялись и исчезали, как тени в фантазмагории. Но вот двери отворяются настежь; молодой, осанистый человек величаво сбрасывает с себя плащ на руки лакея и быстро проходит чрез залу в совет банка. Не прошло пяти минут, мой незнакомец возвратился из совета; я смотрел тогда прямо ему в лицо... то был покойный друг мой!

Не помню, как я вскочил со стула и подбежал к нему. Взгляд, брошенный им вскользь на меня, еще более уверил мое воображение, что то был покойник. Я остолбенел, силился промолвить слово и не мог, хотел кинуться в его объятия и стоял недвижим. Между тем он был от меня уже далеко; слуга накинул на него плащ, и он вышел из залы, столь же мало обратив на меня внимание, как и при входе.

"Нет! это не друг мой, – сказал я в суеверном недоумении. – Он не прошел бы мимо меня, не пожав мне руки, не сказав приветливого слова. Да и может ли привидение являться посреди дня в толпе людей? Духи любят мрак и уединение..."

Мои расспросы о незнакомце были напрасны: никто из присутствовавших не знал его имени и никогда не видал его в сем месте. Любопытство мое возростало; но я должен был отложить свои разыскания до другого времени.

Спустя несколько дней после этой встречи с чудным незнакомцем сижу я в театре. Подле меня одно кресло оставалось долго не занятым. Я положил на него шляпу и равнодушно смотрел на симметрические группы балетчиков и несносно правильные их телодвижения. Вдруг, как бы на крыльях ветра, вылетели на середину сцены Гюллен и Ришард, и громкие рукоплескания встретили сих двух любимцев московской публики. Я загляделся на них и не чувствовал, что порожнее кресло было уже занято и шляпа моя сложена на пол. Вольность соседа мне не понравилась; я взглянул на него: то был человек лет тридцати, в очках фиолетового цвета, который, по-видимому, был занят одною сценой и не обращал внимания на окружающих. С досадою поднял я свою шляпу и, отрясая с нее пыль, нарочно задел ею соседа, чтоб за его невежливость отплатить тем же. Но он того и не заметил.

– Как хороша! – воскликнул он, наконец, довольно громко.

– Кто? – спросил я, следуя за его очками, обратившимися тогда на соседний бенуар, где сидели знакомые мне дамы.

– Эта декорация, – отвечал он хладнокровно.

Последние слова были произнесены им совершенно другим голосом, чем первые. Звуки одного поразили меня: то был голос покойного друга! Но я не верил слуху и старался разогнать мысль о сходстве, как обманчивую мечту. Однако взоры мои невольно обратились к ложе со знакомыми дамами. Между ними была девушка лет восемнадцати, бледная и задумчивая; казалось, она лишь из приличия смотрела на балет и не разделяла общего удовольствия. Читатели поймут ее равнодушие, когда узнают, что последние слова покойного друга к ней относились; что последний вздох его был посвящен отсутствующей подруге. Мне поручил он передать ей этот вздох, эти слова; и я стал поверенным ее сердечных тайн. Она любила юношу со всею

искренностью первой девственной любви и при его жизни не смела в том ему признаться. Но горесть исторгла из ее груди тяжкое признание, которое, как увядший цвет, назначено было украсить лишь могилу ее возлюбленного.

Я взглянул на девушку; взоры наши сошлись, и легкий румянец покрыл ее бледные щеки. Не желая продлить ее замешательства, я обратился к соседу.

– Как находите вы балет? – спросил я.

– По слухам, я ожидал лучшего, – отвечал он пленительным своим голосом, – впрочем, он обставлен порядочно. А как зовут танцовщика?

– Ришард. Разве вы видите его в первый раз?

– Я приехал сюда недавно, после тридцатилетнего отсутствия.

– И потому вы должны худо помнить Москву, оставив ее в детстве?

– Извините, – отвечал незнакомец с важностью, – я уже долго живу на свете.

– Вам угодно смеяться надо мной, – сказал я с некоторой досадой, – судя по лицу, я не дал бы вам и тридцати лет.

– Право? А слышали ль вы о графе Сен-Жермен?

– Что хотите вы сказать?

– Горацио! Много тайного на земле и на небе, чего философия ваша и не подозревает.

– Вижу, – отвечал я с возрастающим неудовольствием, – что вам знаком Шекспир; но далее ничего не вижу.

Вместо ответа сосед мой снял свои фиолетовые очки и пристально посмотрел на меня. Я вздрогнул... Лицо его будто изменилось и помолодело; я узнал в нем юношу, столь разительно сходного с моим покойным другом.

– Бога ради, скажите мне... – воскликнул я вне себя от удивления.

Незнакомец прервал меня: "Молодой человек, – сказал он вполголоса, – здесь не место говорить об этом".

И, надев свои фиолетовые очки, он стал снова смотреть на сцену.

Балет кончился. Я вошел в бенуар, где сидела упомянутая мною девушка. С нею была ее мать, пожилая дама, которая, несмотря на лета, старалась идти наравне с веком. Строгая поклонница всего модного и нового, немного болтливая, она была, впрочем, добрая и радушная женщина, чадолюбивая мать и одна из тех рассудительных жен, которые, управляя втайне мужьями своими, позволяют им в публике говорить я и пользоваться призраком власти. Она встретила меня кучей вопросов: "Ну, что же наш домашний театр? Вы верно будете на первой репетиции? Не правда ли, что мой Петр Андреич счастливо выбрал "Горе от ума"? Все говорят об этой комедии, и между тем она так мало известна. Не правда ли, что довольно оригинально выставлять перед нашей публикой ее же предрассудки? Ах, кстати, будете ли вы завтра утром на аукционе? Мы туда собираемся; моей Глафире страх хочется видеть дом и вещи покойного графа".

Я спешил прервать ее; однако не знал, на который из вопросов отвечать прежде.

– Покупать на аукционе я ничего не намерен, – сказал я, наконец, – но если вы там будете...

– По крайней мере для нас приезжайте туда, – прибавила Глафира тихим голосом.

– Ну, а роль Чацкого, как с ней дела? – спросила у меня Линдина.

– Она, право, выше сил моих, – отвечал я.

– Не слушаю вашей отговорки, – возразила Марья Васильевна, – завтра вечером репетиция. Мой Петр Андреич играет Фамусова, а Глафира – Софью: это решено. Кстати, что твои глаза? – прибавила она, обратись к дочери. – Что, все еще красны? Вообразите, простудила глаза и не бережется. Смотри, не три же их.

Я знал, отчего красны глаза ее и что это вовсе не от простуды. Желая прекратить сей разговор, я обратился было опять к роли Чацкого, как вошел в ложу Петр Андреич с веселым, лучезарным лицом.

– Сейчас в коридоре я встретил, – сказал он, – одного старого знакомого и сделал важное приобретение.

– Что такое? Уж не купил ли Подмосковной, которую для меня торгуешь? – весело спросила Линдина.

– Нет, душенька, не то; я отыскал отличного Чацкого, и если только позволите...

Последние слова относились ко мне; и я с радостью готов был уступить роль свою.

– Вот в чем дело, – продолжал Линдин, – когда я служил в Петербурге, тому назад лет тридцать, то был знаком по обществу с одним премилым человеком, не помню его фамилии; и как бы ты думала? Представь: сейчас встречаю его, ест мороженое...

– Так что же?

– Как что? Узнаю его с первого взгляда; чудак нисколько не переменялся, между тем как я успел уже состариться.

– Да ты, друг мой, не бережешь себя, – возразила жена с нежным упреком. – Возможно ли? Ездишь каждый день в клуб, какова бы ни была погода, и просиживаешь там до часу, до двух ночи!

– Полно, полно, любовь моя, – отвечал муж, – вспомни, что когда бы я не был стариком, то не играл бы Фамусова. Ха, ха, ха, нашелся! Не правда ли?

– Конечно, – сказал я, улыбаясь, – мы были бы лишены удовольствия видеть вас в этой роли; но...

– Комплимент, еще не заслуженный, – отвечал довольный Линдин, – и в отместку я лишаю вас роли Чацкого. Но, – прибавил он, – пожав мне руку, – мы с вами без церемонии, и вы будете играть Молчалина. Согласны ли?

Я согласился, и Петр Андреич продолжал:

– Завтра я познакомлю вас с моим старым приятелем. Прелюбезный человек! Несмотря на свой шестой десяток, он свеж, как не знаю кто, и охотно берет на себя Чацкого. Говорит, что уже несколько раз играл его.

– Ты, стало быть, все рассказал ему? – спросила жена. – Но как же зовут твоего приятеля?

– Он мне называл себя, да право не помню; что-то вроде Вышнян, знаю, что на ян. Но вот он, в третьем ряду кресел. Чудак! Не смотрит.

– Не в фиолетовых ли очках? – спросил я.

– Ну, да; а разве вы его знаете?

– Нет; но он мой сосед по креслам, – отвечал я в замешательстве.

Линдин того не заметил и собирался ехать в клуб.

– Сей же час зову к себе весь город на представление, – говорил он, – я введу его в лучшее общество, познакомлю с нашей публикой... Пусть все толкуют о Чацком Линдина и спрашивают наперерыв: кто такой, кто такой?

– Но сначала, друг мой, узнай, как его зовут, – заметила Марья Васильевна. – Да, кстати, смотри, не засиживайся в клубе. Ах, постой, постой: что это у тебя на платье? Соринка. Ну, теперь ступай с богом.

Мы простились до завтра, и я, вместе с Линдиным, оставил театр.

Утро на аукционе, вечер на репетиции: день, потерянный для самого себя; но сколько таких дней в жизни! Дав слово Линдиным занять для них места, я отправился заранее в дом покойного графа, где назначен был аукцион. Давно ли в стенах его раздавались клики веселья? А теперь слышен лишь стук молотка да прерывистый голос аукционера.

Граф, коему принадлежали дом и вещи, назначенные теперь к продаже в уплату многочисленным кредиторам, был не последнею странностью прошедшего века. Богатый, знатного рода, он воспитывался и провел свою молодость в чужих краях. Душою принадлежал он Италии и Франции; к отечеству же своему был привязан только длинной родословною нитью, на нем же порвавшаяся, да десятком тысяч душ, кои успел прожить – или правильнее – променять на несколько бездушных статуй. Двор великолепного его дома был весь покрыт экипажами. Многочисленная публика толпилась у входа, на лестнице; в зале, посреди коей был устроен обширный амфитеатр, зрители и покупщики теснились живописными группами вокруг арены, в коей, вместо рыцарей и герольдов, восседал начальник аукциона. Перед ним, на длинном и широком столе, возвышались драгоценные вазы, канделябры, часы, небольшие статуи. По стенам залы висели картины, огромные фолианты лежали грудями на полу. Впереди же аукционера, у большого венецианского окна стояли два колоссальных порфирных сфинкса, безмолвные, но грозные свидетели зрелища, которое столь разительно представляло и блеск, и суету мира.

Я не застал уже начала: многие вещи были раскуплены. Несмотря на многолюдство, мне удалось найти места на амфитеатре. Вскоре после меня приехали и Линдины. В это время аукционер возвестил громким голосом о перстне с геммою отличной работы. Глафира просила меня поднести к ней перстень. Голова юноши, вероятно Алкивиада, выдавалась рельефом на белом халцедоне. Бедная девушка нашла в этом изображении большое сходство с милым ее другом.

– Чего бы ни стоило, а этот перстень должен принадлежать мне, – сказала она едва внятным голосом, наклонив ко мне голову. – Уговорите батюшку купить его для меня.

Петр Андреич, по любви родительской, скоро на то согласился. Начался торг. Как нарочно, на перстень нашлось множество охотников; но они надбавляли по безделице, и Петр Андреич стоял твердо в своем намерении. Наконец совместники его замолкли. Молот ударил уже в другой раз: Линдин торжествует, он вынул уже бумажник и хотел отсчитать деньги, как чей-то голос, будто мне знакомый, выходявший из толпы посетителей, разом надбавил несколько сот рублей...

Зрители онемели от удивления; глубокое, продолжительное молчание последовало за страшным вызовом к аукционному бою. О Глафире и говорить нечего: внезапный страх овладел ею; бледная и безмолвная, она устремила на отца глаза свои, коими умоляла его не уступать противнику драгоценного ей перстня; но Линдин отказался надбавлять цену, и без того уже высокую. Я решился было войти с дерзким невидимкой в торговое состязание и заставить его отказаться от добычи; но кончено: роковой молот ударил в третий раз...

Вдруг Глафира помертвела и тихо опустила мне на руки... Этот удар, казалось, решил судьбу ее жизни. Между тем, как мы суетились около нее, незнакомый покупатель расплатился, взял перстень и исчез. Глафира опомнилась и я, посадив ее в карету, возвратился домой с досадой, с грустью в сердце. Оно было полно темного, зловещего предчувствия.

Вечером, приехав к Линдиным, я был поражен болезненным видом Глафиры и необыкновенною веселостью Петра Андреича. Он не замечал, по-видимому, ни страданий дочери, ни скуки гостей и был занят одним Вашиаданом (Петр Андреич вспомнил, наконец, имя своего старого приятеля), который приехал прежде меня и успел уже со всеми познакомиться. Если бы не голос его да фиолетовые очки, я не узнал бы в нем важного, таинственного соседа моего по театру: он был говорлив, весел, развязан и нисколько не казался стариком в шестьдесят лет.

Это новое приобретение, как выражался Линдин, утешало его до крайности; он восхищался заранее своим Чацким. Причина его восторга была понятна; но что произвело такое сильное потрясение в Глафире? Уже ли одна неудача в покупке перстня? Она не была так малодушна. Или голос Вашиадана пробудил в ней воспоминание о потерянном друге? Ясно

было лишь то, что она скрывала в груди своей какую-то новую и страшную тайну; но изведать оную не позволяли ни время, ни благоразумие. Однако я решился спросить ее, в состоянии ли она играть сегодня. Этот вопрос вывел ее из задумчивости.

– Разве вы почитаете меня больной? – спросила она в свою очередь.

– Не больной, но расстроенною от давешнего... Она прервала меня с живостью: "Не договаривайте; в самом деле, я не знаю, буду ли в силах играть теперь; но, чтоб не огорчить батюшку, постараюсь преодолеть свою робость".

– И будто одну робость? – спросил я испытующим голосом.

– Господа, господа, – провозгласил Петр Андреич, хлопая в ладоши, – что же наша репетиция? Все актеры налицо – начнемте...

Во весь вечер чудный гость Линдина был в полной мере героем и душою общества. Нельзя было надивиться той свободе, с какою он, как бы сам того не примечая, переменал обхождение, разговор с каждым из собеседников, умел применяться к образу мыслей, к привычкам, к образованности каждого, умел казаться веселым и любезным с девушками, важным и рассудительным со стариками, ветреным с молодежью, услужливым и внимательным к пожилым дамам. К концу вечера он получил двадцать одно приглашение; однако, по-видимому, не желал умножать знакомств и уклонялся от зовов, говоря, что едет из Москвы немедленно после представления, в коем участвует лишь из дружбы к старому своему приятелю.

– Что тебе за охота, Петр Андреич, – сказал один пожилой родственник, – выбрать такую вольнодумную пьесу для своего представления?

– А почему же не так? – спросил озадаченный Линдин.

– В этой комедии, прости господи, нет ни христианских нравов, ни приличия!

– А только злая сатира на Москву, – подхватила старая дама. – Пусть представляет ее в Петербурге – согласна; но не здесь, где всякой может узнать себя.

– хуже для того, кто себя узнает... это было бы даже весьма пикантно, – сказал какой-то русский литератор в очках. – но какое оскорбление вкуса! Вопреки всем правилам комедия в четырех действиях! Не говорю уже о том, что она писана вольными стихами; сам Мольер...

– Вольные б стихи ничего, – возразил первый мужчина, – только бы в ней не было вольных мыслей!

– Но почему ж им и не быть? – спросил один молодчик, племянник Линдина.

Почтенный враг вольных мыслей вымерил главами дерзкого юношу.

– А позвольте спросить, господин умник, – сказал он, – что разумеете вы под этими словами?

– Я разумею, – отвечал, покраснев и заикаясь, наш юный оратор, – я разумею, что вольные мысли позволительны и что без этой свободы говорить, что думаешь...

– Мы избавились бы от многих глупостей? Не то ли хотели вы сказать?

Сии слова были произнесены нараспев и таким голосом, который обнаруживал сосредоточенную запальчивость и при первом противоречии готов был разразиться громом и молнией.

Линдин спешил отвратить грозу при самом ее начале. Он стал уговаривать старого родственника, чтоб он не горячился и тем не расстраивал своего драгоценного здоровья.

– Слушай, Петр Андреич, – отвечал тот после грозного молчания, – если завтра ты повторишь свое безумство и сыграешь перед публикой эту комедию, то я не я... увидишь!

Тут он сжал зубы, схватил шляпу и вышел поспешно из комнаты.

– Желая знать, чем кончится эта тревога; но я... я... О! Я поставлю на своем, – сказал Линдин в великодушном порыве сердца. – Хотя бы тысяча родственников против, а "Горе от ума" будет сыграно.

– Однако... – заметила жена.

– Не слушаю, – отвечал муж.

– Но если, в самом деле, эта пьеса заключает в себе вольные мысли?

– Ну, сократим ее.

– Она сокращена и без нас.

– Ну, в таком случае мы... Этак я и не найдусь.

– Всего лучше сократить ее вовсе, – прибавил литератор с улыбкой само довольствия.

– Давно бы так, – воскликнуло несколько старушек.

Линдин был как на иголках. Гордость и неуступчивость боролись в нем со страхом.

– По крайней мере, дайте сыграть ее сегодня, в семь, на генеральной репетиции, – сказал он, смягчив голос, – а там... увидим.

Строгие тетушки согласились на капитуляцию, и Линдин оправился от недавнего поражения. В эту минуту Вашиадан вошел в гостиную.

– Непредвиденные обстоятельства, – сказал он после первых приветствий, – заставляют меня оставить Москву ранее предположенного мною срока. Я еду сегодня в ночь; однако, желая по возможности облегчить вину свою перед вами и, хотя вполнину исполнить обещанное, я оставил все свои дела и последний вечер посвящаю вам: располагайте мною.

Линдин был вне себя от его любезности, а еще более от того, что в отъезде своего приятеля находил благовидный предлог к отмене представления, которого теперь столько же страшился, сколько прежде желал из тщеславия. Правда, тяжело ему было отказаться от своего любимого намерения: блеснуть пышностью, вкусом и даже – если не ошибаюсь – своей дочерью; но еще тяжелее идти против общего мнения.

Позвали к обеду. Все пошли попарно и молча. Беседа не была, как прежде, приправлена шутками и остроумием Вашиадана. Сей чудный гость, неизвестно почему, разделял с прочими то дурное расположение духа, которое, как язва, переходит от одного ко всем и простирает на самых веселых свое губительное влияние.

Вскоре после стола начались приготовления. Линдин продолжал твердить роль; но чем более старался, тем менее успевал. Наконец он кинул с досады тетрадь, и, перекрестясь, положился во всем на крепкую грудь суфлера. Домашний оркестр, составленный из двух скрипок и фагота (второпах не успели послать за другими инструментами), заиграл увертюру, и все зрители чинно уселись по местам. С последним ударом смычка поднялся занавес, и комедия пошла своим чередом – разумеется, за исключением Фамусова, который врал без пощады и останавливался на каждом слове, вслушиваясь в подсказки суфлера.

Однако первое действие кончилось довольно удачно при общих рукоплесканиях добротных зрителей. Линдин сказал препорядочно свои два стиха:

Что за комиссия, создатель,
Быть взрослой дочери отцом! —

и Марья Васильевна, остававшаяся в партере с гостями, значительно улыбнулась своему мужу.

Началось и второе действие. Фамусов довольно твердо выдержал огненные сарказмы Чацкого; Скалозуб проговорил басом, и Софья вышла на сцену, дабы упасть в обморок. Она произносила уже стих:

Ах, Боже мой! упал, убился! —

как вдруг Вашиадан со словами:

Кто, кто это? —

снял фиолетовые свои очки и устремил глаза на обернувшуюся к нему девушку. Я слышал крик и шум от падения на пол...

Громкие и продолжительные рукоплескания последовали за ее мастерским обмороком; некоторые кричали даже: «Форо!» Но я, был за кулисами и видел причину ее беспамятства. Забыв все, выбегаю на сцену и прошу о помощи.

Легко себе представить, какая суматоха поднялась в зале, когда узнали, что обморок Глафиры был вовсе не искусственный. Мать бегала в испуге из комнаты в комнату, спрашивая спиртов, соли; отец не мог опомниться и все еще приписывал этот обморок чрезвычайному искусству дочери; из зрителей иные суетились вместе с Линдиной и еще более ей мешали.

Невольно обратил я глаза на стенные часы, висевшие в зале. Протяжно пробило на них десять.

– Об эту пору, в исходе десятого, скончался возлюбленный Глафиры, – подумал я и стал искать взорами Вашиадана. Но он исчез, и никто не знал, когда и как оставил дом Линдина.

Внезапный отъезд Вашиадана возбудил во мне сильные подозрения. Правда, обморок Глафиры мог произойти от ее болезненного состояния или от той же обманчивой мечты, которая заставляла и меня несколько раз находить в подвижной физиономии и в голосе сего странного человека сходство с чертами и с голосом покойного друга. Но, с другой стороны, не мог ли поступок его быть следствием какого-нибудь обдуманного, злоумышленного плана? И нет ли в его власти скрытных, таинственных средств, с помощью коих он приводит этот план в исполнение? Поведение, характер, таланты Вашиадана были столь загадочны, что из них можно было выводить какие угодно заключения. Он сам не говорил о себе ни слова и старался отклонять нескромные вопросы любопытных. Судя же по рассказам Линдина, и в особенности чиновников банка, где он заложил множество бриллиантов и других драгоценных вещей на огромную сумму, то был грек, ремеслом ювелир или – как иные уверяли – еврей, алхимик, духовидец и чуть-чуть не Вечный жид. Но сия самая неизвестность о его происхождении и занятиях наводила на него еще сильнейшие подозрения. Мне казалось более чем вероятным, что он наглый и хитрый обманщик, у которого на уме что-то недоброе, хотя и трудно проникнуть в его цели.

В этой уверенности я отправился на следующее утро к Линдиным осведомиться о здоровье Глафиры. Меня встретила мать. Я спросил ее о дочери: по словам ее, она провела ночь покойно и еще не просыпалась.

– Знаете ли, – промолвила таинственно Марья Васильевна, – знаете ли, отчего, я думаю, больна моя Глафира?

– Отчего?

– Ее сглазили!

Я не мог не улыбнуться при таком объяснении ее болезни.

– Вы смеетесь? – продолжала Линдина с укоризной, – но я совершенно тому верю.

– И я не вовсе отвергаю возможности магнетического действия глаз на людей и животных, – отвечал я. – Между прочим, мне сказывали об одном человеке простого звания, который носил зонтик на глазах единственно из боязни причинить вред своим взором. Но его опасения могли быть ложны; что же касается до Глафиры...

– Ваш пример еще более подтверждает мою догадку. Мне кажется, что Вашиадан носит фиолетовые очки из той же предосторожности. Когда он снял их, Глафира тотчас упала в обморок. Но я умыла ее святой водой и надеюсь, что болезнь пройдет скоро.

Некстати было сообщать ей теперь мои подозрения насчет Вашиадана. Время, полагал я, объяснит загадку; хотя, во всяком случае, благоразумие требовало бы обходиться осторожнее с двусмысленным приятелем Петра Андреича. Но это его дело, а не мое.

При сем раздумье, нас позвали к Глафире. Узнав о моем приезде, она желала меня видеть.

Больная сидела на постели, склонив голову к подушкам. Положение ее руки на лбу показывало, что она старается принести себе на память случившееся вчера с нею.

Рассказ матери подтвердил ей темное воспоминание.

– Да, – сказала она, наконец, слабым голосом, – почти так. О, как это было страшно. Но где батюшка?

– Он поехал в клуб, душа моя, – ответила мать, – и скоро воротится.

– Скоро? дай-то бог! Пора, давно пора открыть вам тайну этого бедного сердца. Вчерашний случай заставляет меня поспешить моим признанием. Не уходите, – прибавила она, обращаясь ко мне, – вы будете моим, земным свидетелем.

Глафира находилась в напряженном состоянии духа. Жар ее увеличивался, щеки и глаза пылали. Она продолжала с какою-то невыразимой торжественностью:

– Быть может, признание мое поздно; но, по крайней мере, вы поймете дочь свою; и если суждено ей скоро умереть, то она не понесет во гроб тайны, скрытой от родителей. Тогда молитесь за меня и просите бога, чтобы он не лишил вашу дочь той отрады в будущей жизни, которую она напрасно искала в здешней.

Эти слова произвели необычайное действие на Линдину. Для нее все было неожиданно, непонятно. Она хотела говорить и вдруг судорожно схватила руку дочери. В эту минуту вошел Петр Андреич. Едва обратил он внимание на больную и, поцеловав ее в лоб, начал:

– Ну, что, прошло? Я знал, что пройдет. Представь, Marie, – продолжал он гневно, – проказник-то, наш роденька, мало того, что вчера на меня прогневался; нет, изволь отправиться в клуб да составь там заговор против моего представления! Хорошо, что болезнь дочери заставила меня отменить его; не то подумали бы, что я струсил. Нет, братцы, не того я десятка! Видишь, удумали сомневаться в моем верноподданстве! Куда подъехали! Сегодня вхожу в газетную: сидит князь Иван, да...

Линдина слушала мужа скрепя сердце; но, не предвидя конца его рассказам, прервала их наконец с видом глубокого негодования:

– И тебе не совестно, – сказала она, – заниматься этими вздорами, когда дочь твоя на краю гроба!

Сильный удар долбней не произвел бы на Петра Андреича большего действия, чем эти слова. Он остался в том же положении, в каком был при конце своего рассказа: с раскрытым ртом, с наклоненным туловищем и руками, опершимися дугою на колена. Чувство родительское восторжествовало над мелким самолюбием.

– Как на краю гроба? – возопил он, выйдя из оцепенения.

– Да, и на краю гибели. Слушай признание своей дочери, быть может, преступной дочери! Глафира величаво поднялась со своей постели.

– Я преступная? – воскликнула она. – Нет, родители! Я чиста, как голубь, непорочна, как агнец. Моя вина лишь в том, что я скрывала от вас свою страсть... Я любила!

– Ты любила! – вскричали отец и мать.

– И потеряла своего возлюбленного, – продолжала Глафира едва внятным голосом. – Вчера ровно год, как он умер.

– А кто тот дерзкий, который осмелился любить тебя без нашего позволения? – спросил сердито отец.

– Не тревожьте его праха, – уныло отвечала дочь. – Вот свидетель, что мой покойный друг до самой своей кончины скрывал от меня любовь свою. Слишком поздно узнала я, какое пламенное чувство он питал ко мне.

– И вы, сударь, знали о том и молчали?

– Он обязал меня клятвою никому не вверять его тайны, кроме вашей дочери. Заветные слова умирающего священны: я исполнил их со всею строгостью долга.

– И ты любила его еще при жизни?

– Да, и еще более люблю его по смерти. Я поклялась – и теперь, пред лицом бога и перед вами, повторяю мою клятву – я поклялась не принадлежать никому в здешнем мире.

Эти слова, произнесенные с необычайной твердостью, обезоружили гнев отца.

– Но ты не откажешься принадлежать нам? – сказал он с чувством.

– О батюшка, о родители! – отвечала растроганная дочь, – вам одним принадлежу я – я ваша!., Но не думаю, чтобы надолго.

Мать, не говорившая до того ни слова, вдруг зарыдала и опустила голову на грудь своей дочери.

– Глафирушка, милое, единокровное мое детище, – возопила она, стеная, – не покидай нас, живи для нас! Более ничего не требую, прощаю, благословляю любовь твою!

Этот порыв материнского сердца поворотил всю мою внутренность; слезы брызнули у меня из глаз. Линдин плакал навзрыд.

Несколько минут продолжалась эта безмолвная, но трогательная сцена. Глафира подняла первая голову. Ее лицо, незадолго унылое и пасмурное, теперь казалось преображенным от восторга и чистейшей радости. Но вдруг какая-то новая мысль пробежала по челу девушки и словно облаком задернула лучезарный свет ее очей.

– Благодарю вас, мои родители, – сказала Глафира, – за эту прекрасную, эту блаженную минуту. Но как быстро она промчалась! Тяжелое воспоминание отравило ее. Змей Вашиадан смертельно уязвил меня.

– Что говоришь ты о Вашиадане, друг мой? – спросил испуганный Линдин.

– Слушайте; я кончаю свое признание: покойный мой друг носил на руке фамильный перстень; помню, он часто говаривал, будто в этом перстне заключается таинственная сила, и что от одного будет зависеть судьба той, которую избрет себе в супруги. Это предание вместе с вещью перешло к нему от бабушки. Я принимала его слова за шутку и позабыла бы о них, если б на аукционе не встретила перстня. Я не могла понять: каким образом он попал между вещей графа; но была рада, что мне представился случай купить его. Сходство изображения с чертами покойника напомнило мне таинственные предреkania. Я думала обручиться этим перстнем навеки с ненареченным супругом, как вдруг кто-то в толпе, с его чертами и голосом, надбавляет цену и отнимает у меня сокровище, за которое тогда я отдала бы полжизни. У меня померкло в глазах; не помню, как мы приехали домой. Возвратиться за перстнем было поздно... Приготовления к комедии развлекали меня, время ослабило воспоминание о талисмане: я стала покойнее. Но вчера... видали ль вы Вашиадана без очков?.. Вчера, когда он снял их во время репетиции, лицо, голос его вдруг изменились: передо мной стоял мой возлюбленный, точь в точь он... И в довершение очарования – таинственный перстень блеснул на его руке: удивление, страх, ужас овладели мною, я обеспамятела. Помню, как это же лицо мелькнуло и на аукционе, как те же глаза, пламенные и неподвижные, были и тогда устремлены на меня. Страшно при одной мысли... Не дай боже встретиться мне опять с этими взорами! Мне кажется, я их не вынесу.

Глафира умолкла. Изумление наше было невыразимо. Я не знал, верить или нет странному повествованию; я готов был принять его за бред болящей или даже за признак ее умственного расстройства. Но многое из рассказанного ею о Вашиадане подтверждал мне собственный опыт; давно я питал к нему недоверчивость и подозрение. Вид страдальцы пробудил во мне все негодование.

– Ваш мнимый приятель, – сказал я Линдину с жаром, – есть явный злодей и обманщик, хотя бы одна десятая часть нами слышанного была справедлива. Даю слово отыскать его и потребовать от него отчета в гнусной шутке, которую он сыграл над вашей дочерью.

– Не берите на себя труда его отыскивать, – сказал кто-то позади меня твердым и знакомым голосом.

Я оглянулся...

То был сам Вашиадан.

– Виновный здесь, – продолжал он, снимая очки. Мы обомлели.

– Что ж вы не требуете от меня отчета? – спросил незванный гость с язвительной улыбкой. – Вас удивило, может быть, неожиданное мое посещение? Но дела мои переменились, и я остался в Москве. Вы не отвечаете? Вижу, проезд мой вам не нравится. Не опасайтесь: я вас скоро от себя избавлю.

При этих словах он снова устремил на нас свои огненные взоры. Мы не трогались с места. Я чувствовал в себе что-то необычайное. Это что-то походило на те страшные сновидения, когда человек, не теряя еще памяти, чувствует оцепенение во всех членах, силится привстать и не может пошевелиться, хочет говорить, и язык его коснеет, грудь стесняется, кровь замирает в жилах, и он, полумертвый, падает на изголовье. Сие-то удушающее ощущение, известное простому народу под именем домового, овладело тогда мною. Я видел все происходившее, но язык и члены онемели. Я не в силах был обнаружить ни словами, ни движением моего удивления и ужаса.

После того страшный Вашиадан (он был точно страшен в эту минуту) приблизился к постели, на коей лежала больная. Глаза его засверкали тогда необыкновенным светом. Больная привстала, но молча и почти без жизни; потом сошла с постели, ступила на пол, пошатнулась... новый взгляд Вашиадана как будто оживил ее: она оправилась, стала твердо на ноги и тихими шагами пошла за своим вожатым.

Мы все оставались неподвижными. Я видел, как они вышли из комнаты, как Глафира, подобно невинной жертве, ведомой на заклание, послушно следовала за очарователем; я слышал шаги их по коридору, слышал повелительный голос Вашиадана, коему слуги хотели было преградить дорогу. Рвусь вперед – но вот стук экипажа раздался у подъезда... потом на улице... все глуше, глуше – пока, наконец, исчез в отдалении.

Подобно той змее, которая одним взором привлекает к себе жертвы и одним взором умерщвляет их, Вашиадан, силою огненных своих очей, произвел над несчастною Глафирой то, что почел бы я фарсом, если бы сам не подвергся отчасти их магнетическому влиянию.

Слишком, слишком поздно разрушилось наше очарование. Мать, как бы пробужденная от глубокого сна, приходит в себя мало-помалу – ищет дочери... Несчастливая! страшная действительность вскоре удостоверит тебя, что ты лишилась, и, быть может, навеки, своей милой Глафиры!.. Нет ее ни в доме, ни на улице. Все видели, как Вашиадан посадил ее в карету и поскакал с нею – но куда? зачем? то оставалось загадкой для каждого.

Прошло около года после страшного происшествия, лишившего Линдиных дочери. Все старания мои отыскать ее были напрасны. Никто не знал Вашиадана, никому не было известно его местопребывание, и самое имя его все почитали подложным. Мудрено ли было ему, обдумавши план свой заранее, принять нужные меры к сокрытию себя, своего имени и жилища?

Потеряв всю надежду открыть следы Глафиры и ее похитителя, я оставил Москву. Один родственник давно звал меня в отдаленную свою деревню. Теперь было кстати воспользоваться его приглашением: я переехал к нему. Весна во второй раз по смерти моего друга воскрешала природу. Все окружавшее улыбалось мне; я один оставался мрачен; тяжелое воспоминание давило мне душу; приближался день его кончины и ее гибели. В этот день, по совершении печального обряда в сельской церкви, я отправился пешком бродить по сосновому лесу, лежавшему близ усадьбы и простиравшемуся на большое пространство. Грустные мысли невольно овладели мною. Сосновый бор казался мне огромным кладбищем. Я остановился и сел на обрубившуюся сосну. Мечты еще преследовали меня; но тихий стон, раздавшийся неподалеку, разогнал их. Я поднимаю глаза и вижу – в нескольких шагах от меня лежит женщина. Платье ее изорвано, руки в крови – вероятно от сухих древесных сучьев и иголок, о которые она цеп-

лялась, шедши по лесу. Она была без чувств и, по-видимому, боролась со смертью; я подхожу, взглядываюсь... Боже! то была – Глафира!

Солнце клонилось к западу; я чувствовал, что заблудился: ни тропинки, ни признаков жилища. Но вот какой-то шорох послышался за мною. Я оглядываюсь. Старик в крестьянском кафтане, с дубинкой в руках, с секирой за поясом пробирался сквозь чащу. Он был не менее моего изумлен, встретив человека в глухом месте, возле мертвого тела.

Мы объяснились. Старик был дровосек и переехал на лето в бор для рубки леса. Шалаш его стоял неподалеку. Он, услышав шорох и стоны, пошел на голос.

С его помощью я перенес в шалаш несчастную девушку. Вскоре открыла она глаза... Глафира, узнала меня и, бросившись мне на шею, называла своим ангелом-хранителем.

– Дай бог, чтоб я оправдал это название, – сказал я в смущении. – Но какая несчастная звезда привела вас на это место? Откуда вы?

Тут, собравшись с силами, она начала рассказ свой едва внятным голосом. И вот что мог я извлечь из него.

Оставив Москву, Вашиадан провез Глафиру глухими проселочными дорогами к одному уединенному дому, где ожидал дорожный экипаж. С приближением ночи они поехали далее. На день обыкновенно останавливались, с захождением солнца продолжали дорогу. Чародей старался поддерживать свою несчастную спутницу в беспрестанном забытии. Наконец, после долгого пути, они приехали – куда? того не знала Глафира. То было в глухую полночь. Их встретили с факелами; погребальный их блеск пробудил Глафиру.

– Где я? – спросила она у своего похитителя.

– В доме друга, – отвечал он своим млечным голосом.

Они вошли в пышные хоромы, украшенные внутри богатыми обоями, бронзой, картинами, на коих изображались чудные, фантастические фигуры. Чем-то не человеческим отзывалось все их окружающее: люди со странными лицами, словно в масках, служили новопроезжим: вдруг вдалеке послышались гармонические звуки и с приближением превратились в какой-то нескладный, но живой танец и вот все фигуры – на обоях, на картинах, из бронзы – начали прыгать, плясать, а чудные служители – передразнивать их движения. Треск, гул, грохот оглушают воздух, все колеблется, сам ад пирует на земле. Но шар, подобно луне, поднимается величаво из-за облаков дыма; вдруг взвился он высоко и с треском распался на части. Пламя потухает мало-помалу, свет становится бледней и бледней; наконец все исчезло, и лишь луна, выкатившись из-за тучи, серебрит уединенную поляну. Боязливые ее лучи, мерцая, падают робко на лицо товарища Глафиры; она узнает в нем милого, нежного своего друга.

"О, как я счастлива, – лепечет она в сладком забытии, – о, как я счастлива, сидя с тобою, супруг моего сердца, душа души моей! Но боже, это не он, не он!" – и падает в беспамятстве.

Померкла луна; явился день с порфирородным своим спутником. Сквозь густую зелень деревьев, осенявших окна и разливавших сладостную прохладу, прокрадывается свет и проникает в опочивальню Глафиры. Она пробудилась; у ног ее сидит очарователь.

– Вчера, – говорит он, – ты видела мое могущество, видела, какие таинственные силы в руках моих. Отныне я от всего отрекаюсь: ты одна – царица сего жилища. Я умел преклонить тебя сверхчеловеческими средствами; теперь, простой смертный, я у ног твоих; не ты в моей, а я в твоей власти. Располагай тем, что видишь, повелевай мною, люби меня!

– Тебя любить? – воскликнула, опомнившись, Глафира и отклонила его от себя рукою. – Кто бы ты ни был, – продолжала она, – дух ли искуситель, привидение или человек, – прошу, умоляю тебя: возврати меня родителям!

– Не могу! Что раз случилось, того переменить невозможно.

Тут он прижал ее к своей груди и тихо надел ей на руку таинственный перстень.

– Узнаешь ли ты наше кольцо обручальное? Помнишь ли предсказание? Вот залог любви нашей!

Она взглянула на перстень, взглянула на друга... "О, мой ангел! – воскликнула она вне себя от упоения, – ты возвращен, наконец, твоей Глафире!" – и с этими словами судорожным движением упала в его объятия.

Я слушал с изумлением и ужасом. Много казалось мне невероятным в ее повествовании; и чудеса, коих она была свидетельницей в доме похитителя, я приписывал расстроенному ее воображению. Но когда она коснулась этой роковой минуты, в которую, увлеченная обманчивой мечтой, вверилась хищным объятиям мнимого друга – холодный пот обдал меня; ее страстная речь ручилась за ужасную истину и подтвердила мои слишком справедливые опасения: с той минуты Глафира сделалась незаконной супругой Вашиадана...

Ее уверенность, что то был прежний друг ее, возвратившийся с того света, еще сильнее убедила меня в горькой истине; ибо до чего не могут довести слабую женщину заблуждения сердца и воображения? Словом, она жила с ним целый год в очаровательном его замке, не помышляя о родных, дыша им одним, блаженствуя в своем гибельном заблуждении.

– Но сегодня, – продолжала она, – сегодня я покоилась еще в объятиях моего супруга, как чудные служители вдруг окружают наше ложе. "Срок минул! – к расплате!.." – кричат они моему другу и влекут его. Я, как змея, обвилась около его тела; но злодеи исторгают у меня свою жертву, и в глазах моих – ужас вспомнить! – начинают щекотать моего супруга. Ужасный смех вырвался из груди его и вскоре превратился в какой-то адский хохот. Злодеи исчезли, и передо мной остался лишь бездыханный труп; пена, полная яда, клубилась у него изо рта. "И ей ту же казнь!" – возопили снова служители. Но вдруг послышался знакомый, нежный голос: "Она невинна!" – прозвучал он надо мною. И от него, как сон, разлетелись страшные видения, хохот умолк... Я, какою-то волшебною силой, очутилась на том месте, где вы, мой ангел-хранитель, нашли меня.

– Не волшебная сила перенесла вас. Ваше платье показывает, что вы сами пришли сюда.

– Быть может, я не помню...

– Но помните ли вы своего прежнего, давно умершего друга, который, тому ровно два года, поверял мне заветное свое признание в любви к вам, тогда – еще непорочной?

– Я вас не понимаю.

– Сегодня минет два года, как он умер, и год, как вы похищены из дому родительского рукою изверга Вашиадана.

– Вашиадана... покойный друг... из дому родительского... Ах! что вы мне напоминаете! Все это как сон... Но где мои родители?

– Они там, соединились с вашим другом и у престола божия молят о помиловании врага их и о вашем прощении.

Глафира устремила на меня неподвижные взоры; наконец, вышедши из оцепенения:

– Туда, туда за ними! – возопила она и тихо склонила голову на плечо мое.

Рука невольно взялась за часы; роковая стрелка опять указывала десятый в исходе.

Я взглянул на Глафиру. Лицо ее покрылось смертной бледностью, пульс умолк, дыхание прекратилось. Она заснула сном непробудимым...

И через три дня я предал земле прах несчастной. Уединенная сосна, подымая горе мрачно-зеленую свою вершину, осеняет могилу и как бы молит небеса о помиловании. Каждый год, в день ее смерти, прохожие слышат хохот над могилой; но хохот умолкает, и тихий, нежный голос, нисходящий с эфирной выси, произносит слова: "Она невинна!.."

Постскриптум. Для немногих.

– Прекрасно! – восклицает насмешливый читатель, – но скажите, кто же этот Вашиадан? – злой дух, привидение, вампир, Мефистофель или все вместе?

– Не знаю, любезный читатель; он столько же мне известен, как и вам. Но предположим его на время человеком, обыкновенным смертным (ибо вы видели, что он умер); и теперь посмотрим, не объяснятся ли нам естественным образом чудеса его. Припомните, какими средствами довел он мою героиню до расслабления, какими неожиданными ударами потряс ее организм, прежде нежели решился на свое чудо из чудес, на похищение.

– Но вы, Линдина, ее муж, их слуги разве не испытали также над собой его чародейства?

– Не спорю, что, быть может, и на нас действовала отчасти магнетическая сила его глаз; мы были расположены к тому предыдущими сценами, неожиданною дерзостью похитителя и даже – если хотите – верю в его могущество.

– Но его таинственность, долголетие, всевидение?

– Он был обманщик, умный и пронырливый.

– Но его замок, чудная прислуга, чудная смерть?.. Не говорю уже о перстне, о роковом дне и часе...

– Все это – суеверие, случайности, смесь истины с ложью, мечты Глафиры.

– А хохот и голос над ее могилой?

– Мечты прохожих.

– Мечты, мечты! Но вы сами им верите. Полноте притворяться; скажите откровенно: кто ж этот Вашиадан? Не чародей ли в союзе с дьяволом?

– Теперь не средние века!

– Ну, так вампир?

– Он не сосал крови.

– Ну, воплотившийся демон, посланный на срок; ну, словом: пришелец с того света?

– Не помню, чтоб от него отзывалось серой.

– Да кто же он?

– Не знаю. Отгадывайте.

Алексей Апухтин «Между жизнью и смертью»

Был восьмой час вечера, когда доктор приложил ухо к моему сердцу, поднес мне к губам маленькое зеркало и, обратись к моей жене, сказал торжественно и тихо:

– Все кончено.

По этим словам я догадался, что я умер.

Собственно говоря, я умер гораздо раньше. Более тысячи часов я лежал без движения и не мог произнести ни слова, но изредка продолжал еще дышать. В продолжение всей моей болезни мне казалось, что я прикован бесчисленными цепями к какой-то глухой стене, которая меня мучила. Мало-помалу стена меня отпускала, страдания уменьшались, цепи ослабевали и распадались. В течение двух последних дней меня держала какая-то узенькая тесемка; теперь она оборвалась, и я почувствовал такую легкость, какой никогда не испытывал в жизни.

Вокруг меня началась невообразимая суматоха. Мой большой кабинет, в который меня перенесли с начала болезни, наполнился людьми, которые все сразу зашептали, заговорили, зарыдали. Старая ключница Юдишна даже заголосила каким-то не своим голосом. Жена моя с громким воплем упала мне на грудь: она столько плакала во время моей болезни, что я удивлялся, откуда у нее еще берутся слезы. Из всех голосов выделялся старческий дребезжащий голос моего камердинера Савелия. Еще в детстве моем был он приставлен ко мне дядькой и не покидал меня всю жизнь, но теперь был уже так стар, что жил почти без занятий. Утром он подавал мне халат и туфли, а затем целый день попивал "для здоровья" березовку и ссорился с остальной прислугой. Смерть моя не столько его огорчила, сколько ожесточила, а вместе с тем придала ему небывалую важность. Я слышал, как он кому-то приказывал съездить за моим братом, кого-то упрекал и чем-то распоряжался.

Глаза мои были закрыты, но я все видел и слышал, что происходило вокруг меня.

Вошел мой брат – сосредоточенный и надменный, как всегда. Жена моя терпеть его не могла, однако бросилась к нему на шею, и рыдания ее удвоились.

– Полно, Зоя, перестань, – ведь слезами ты не поможешь, – говорил брат бесстрастным и словно заученным тоном, – побереги себя для детей, поверь, что ему лучше там.

Он с трудом высвободил себя от ее объятий и усадил ее на диван.

– Надо сейчас же сделать кое-какие распоряжения... Ты мне позволишь помочь тебе, Зоя?

– Ах, Andre, ради бога, распоряжайтесь всем... Разве я могу о чем-нибудь думать?

Она опять заплакала, а брат уселся за письменный стол и подозвал к себе молодого расторопного буфетчика Семена.

– Это объявление ты отправишь в "Новое Время", а затем пошлешь за гробовщиком; да надо спросить у него, не знает ли он хорошего псаломщика?

– Ваше сиятельство, – отвечал, нагибаясь, Семен, – за гробовщиком посылать нечего, их тут четверо с утра толкуются у подъезда. Уж мы их гнали, гнали, – найдут да и только. Прикажете их сюда позвать?

– Нет, я выйду на лестницу.

И брат громко прочел написанное им объявление:

"Княгиня Зоя Борисовна Трубчевская с душевным прискорбием извещает о кончине своего мужа, князя Дмитрия Александровича Трубчевского, последовавшей 20-го февраля, в 8 часов вечера, после тяжелой и продолжительной болезни. Панихиды в 2 часа дня и в 9 часов вечера". – Больше ничего не надо, Зоя?

– Да, конечно, ничего. Только зачем вы написали это ужасное слово: "прискорбие"? Я не переношу этого слова. Поставьте: с глубокой скорбью.

Брат поправил.

– Я посылаю в "Новое Время". Этого довольно.

– Да, конечно, довольно. Можно еще в "Санкт-Петербургские ведомости".

– Хорошо, я напишу по-французски.

– Все равно, там переведут.

Брат вышел. Жена подошла ко мне, опустилась на кресло, стоявшее возле кровати, и долго смотрела на меня каким-то молящим, вопрошающим взглядом. В этом молчаливом взгляде я прочел гораздо больше любви и горя, чем в рыданиях и воплях. Она вспоминала нашу общую жизнь, в которой немало было всяких тревожений и бурь. Теперь она во всем винила себя и думала о том, как ей следовало поступать тогда. Она так задумалась, что не заметила моего брата, который вернулся с гробовщиком и уже несколько минут стояли возле нее, не желая нарушать ее раздумья. Увидев гробовщика, она дико вскрикнула и лишилась чувств. Ее унесли в спальню.

– Будьте спокойны, ваше сиятельство, – говорил гробовщик, снимая с меня мерку так же бесцеремонно, как некогда делали это портные, – у нас все припасено: сено, и покров, и паникадилы. Через час их можно переносить в залу. И насчет гроба не извольте сомневаться: такой будет покойный гроб, что хоть живому в него ложиться.

Кабинет опять начал наполняться. Гувернантка привела детей. Соня бросалась на меня и рыдала совершенно как мать, но маленький Коля уперся, ни за что не хотел подойти ко мне и ревел от страха. Приплелась Настасья – любимая горничная жены, вышедшая замуж в прошлом году за буфетчика Семена и находившаяся в последнем периоде беременности. Она размашисто крестилась, все хотела стать на колени, но живот ей мешал, и она лениво всхлипывала.

– Слушай, Настя, – сказал ей тихо Семен, – не нагибайся, как бы чего не случилось. Шла бы лучше к себе; помолилась – и довольно.

– Да как же мне за него не молиться? – отвечала Настасья слегка нараспев и нарочно громко, чтоб все ее слышали. – Это не человек был, а ангел божий. Еще нынче перед самой смертью обо мне вспомнил и приказал, чтобы Софья Францевна неотлучно при мне находилась.

Настасья говорила правду. Произошло это так. Всю последнюю ночь жена провела у моей постели и, почти не переставая, плакала. Это меня истомило вконец. Рано утром, чтобы дать другое направление ее мыслям, а главное, чтобы попробовать, могу ли я явственно говорить, я сделал первый пришедший мне в голову вопрос: родила ли Настасья? Жена страшно обрадовалась тому, что я могу говорить, и спросила, не послать ли за знакомой акушеркой Софьей Францевной. Я отвечал: "Да, пошли". После этого я, кажется, действительно уже ничего не говорил, и Настасья наивно думала, что мои последние мысли были о ней.

Ключница Юдишна перестала, наконец, голосить и начала что-то рассматривать на моем письменном столе. Савелий набросился на нее с ожесточением.

– Нет, уж вы, Прасковья Юдишна, княжеский стол оставьте, – сказал он раздраженным шепотом, – здесь вам не место.

– Да что с вами, Савелий Петрович! – прошипела обиженная Юдишна. – Я ведь не красть собираюсь.

– Что вы там собираетесь делать, про то я не знаю, но только пока печати не приложены, – я к столу никого не допущу. Я недаром сорок лет князю-покойнику служил.

– Да что вы мне вашими сорока годами в глаза тычете? Я сама больше сорока лет в этом доме живу, а теперь выходит, что я и помолиться за княжескую душу не могу...

– Молиться можете, а до стола не прикасайтесь...

Люди эти, из уважения ко мне, ругались шепотом, а между тем я явственно слышал каждое их слово. Это меня страшно удивило. "Неужели я в летаргии?" – подумал я с ужасом. Года два тому назад я прочитал какую-то французскую повесть, в которой подробно описывались впечатления заживо погребенного человека. И я усиливался восстановить в памяти этот рассказ, но никак не мог вспомнить главного – что именно он сделал, чтобы выйти из гроба.

В столовой начали бить стенные часы; я сосчитал одиннадцать. Васютка, девочка, жившая в доме "на побегушках", вбежала с известием, что пришел священник и что в зале все готово.

"А ежели это не летаргия, – соображал я, пока меня облекали в чистое белье, – то что же это такое?"

Доктор сказал: "все кончено", обо мне плачут, сейчас меня положат в гроб и дня через два похоронят. Тело, повиновавшееся мне столько лет, теперь не мое, я несомненно умер, а между тем; я продолжаю видеть, слышать и понимать. Может быть, в мозгу жизнь продолжается дольше, но ведь мозг тоже тело. Это тело было похоже на квартиру, в которой я долго жил и с которой решил съехать. Все окна и двери открыты настежь, все вещи вывезены все домашние вышли, и только хозяин застоялся: перед выходом и бросает прощальный взгляд на ряд комнат, в которых прежде кипела жизнь, и которые теперь давят его своей пустотой.

И тут в первый раз, в окружавших меня потемках блеснул какой-то маленький, слабый огонек, – не то ощущение, не то воспоминание. Мне показалось, что то, что происходит со мной теперь, что это состояние мне знакомо, что я его уже переживал когда-то, но только давно, очень давно...

Наступила ночь. Я лежал в большой зале на столе, обитом черным сукном. Мебель была вынесена, шторы спущены, картины завешены черной тафтой. Покров из золотой парчи закрытая мои ноги, в высоких серебряных паникадилах ярко горели восковые свечи. Направо от меня, прислонясь к стене, недвижна стоял Савелий с желтыми, резко выдававшимися скулами, с голым черепом, с беззубым ртом и с пучками морщин вокруг полузакрытых глаз; он более, чем я, напоминал скелет мертвеца. Налево от меня стоял высокий бледный человек в длинном полом сюртуке и монотонным, грудным голосом, гулко раздававшимся в пустой зале, читал:

«Онемех и не отверзох уст моих, яко Ты сотворил еси»...

Ровно два месяца тому назад в этой зале гремела музыка, кружились веселые, пары, и разные люди, молодые и старые, то радостно приветствовали, то злословили друг друга. Я всегда ненавидел балы и, сверх того, с середины ноября чувствовал себя нехорошо, а потому всеми силами протестовал против этого бала, но жена непременно хотела дать его, потому что имела основание надеяться, что нас посетят весьма высокопоставленные лица. Мы чуть не поссорились, но она настояла. Бал вышел блестящий и невыносимый для меня. В этот вечер я впервые почувствовал утомление жизнью и ясно сознал, что жить мне осталось недолго.

Вся моя жизнь была целым рядом балов, и в этом заключается трагизм моего существования. Я любил деревню, чтение, охоту, любил тихую семейную жизнь, а между тем весь свой век провел в свете, сначала в угоду своим родителям, потом в угоду жене. Я всегда думал, что человек рождается с весьма определенными вкусами и со всеми задатками своего будущего характера. Задача его заключается именно в том, чтобы осуществить этот характер; все зло происходит оттого, что обстоятельства ставят иногда преграды для такого существования. И я начал припоминать все мои дурные поступки, все те поступки, которые некогда тревожили мою совесть. Оказалось, что все они произошли от несогласия моего характера с той жизнью, которую я вел.

Воспоминания мои были прерваны легким шумом справа. Савелий, который давно начал дремать, вдруг зашатался и едва не грохнулся на пол. Он перекрестился, вышел в перед-

нюю и, принеся оттуда стул, откровенно заснул в дальнем углу залы. Псаломщик читал все ленивее и тише, потом умолк совсем и последовал примеру Савелия. Настала мертвая тишина.

Среди этой глубокой тишины вся моя жизнь развернулась предо мной, как одна неизбежное целое, страшное по своей строгой логичности. Я видел уже не отрывочные факты, а одну прямую линию, которая начиналась со дня моего рождения и кончалась нынешним вечером. Дальше она идти не могла, мне это было ясно как день. Впрочем, я уже сказал, что близость смерти я сознал два месяца тому назад.

Да и все люди сознают это непременно. Предчувствие – одно из тех таинственных мировых явлений, которые доступны человеку и которыми человек не умеет пользоваться. Великий поэт удивительно метко изобразил это явление, сказав, что "грядущие события бросают перед собой тень". Если же люди иногда жалуются, что предчувствие, их обмануло, это происходит оттого, что они не умеют разобраться в своих ощущениях. Они всегда чего-нибудь сильно желают или чего-нибудь сильно боятся и принимают за предчувствие свой страх или свои надежды.

Я, конечно, не мог определить точно день и час своей смерти, но знал их приблизительно. Я всю жизнь пользовался очень хорошим здоровьем и вдруг с начала ноября без всякой причины начал недомогать. Никакой болезни еще не было, но я чувствовал, что меня "клонит к смерти", так же ясно, как чувствовал, бывало, что меня клонит ко сну. Обыкновенно с начала зимы мы с женой составляли план того, как мы будем проводить лето. На этот раз я ничего не мог придумать, картины лета не складывались: казалось, что вообще никакого лета не будет. Болезнь между тем не приходила: ей, как церемонной гостье, нужен был какой-нибудь предлог. И вот со всех сторон стали подкрадываться предлоги. В конце декабря я должен был ехать на медвежью охоту. Время стояло очень холодное, и жена моя, которая без всякой причины начала беспокоиться о моем здоровье (вероятно, и ее посетило предчувствие), умоляла меня не ездить. Я был страстный охотник и потому решил все-таки ехать, но почти в минуту отъезда получил депешу, что медведи ушли и что охота отменяется. На этот раз церемонная гостья не вошла в мой дом. Через неделю одна дама, за которой я слегка ухаживал, устроила пикник – невообразимый, потрясающий, с тройками, цыганами и катаньем с гор. Простуда была неизбежна, но жена моя вдруг заболела очень серьезно и упросила меня провести вечер дома. Может быть, она даже притворилась больной, потому что на следующий день уже была в театре. Как бы то ни было, но церемонная гостья опять прошла мимо. Через два дня после этого умер мой дядя Василий Иванович. Это был старейший из князей Трубчевских; мой брат, очень гордящийся своим происхождением, иногда говорил о нем: "ведь это наш граф Шамбор". Независимо от этого я очень любил дядю: не поехать на похороны было немислимо. Я шел за гробом пешком, была страшная вьюга, я продрог до костей. Церемонная гостья не стала медлить и так обрадовалась предлогу, что ворвалась ко мне в тот же вечер. На третий день доктора нашли у меня воспаление в легких со всевозможными осложнениями и объявили, что больше двух дней я не проживу. Но до 28-го февраля было еще далеко, а раньше я умереть не мог. И вот началась та утомительная агония, которая сбивала с толку столько ученых мужей. Я то поправлялся, то заболел с новой силой, то мучился, то переставал вовсе страдать, пока, наконец, не умер сего дня по всем правилам науки в тот самый день и час, которые мне были назначены для смерти с минуты рождения. Как добросовестный актер, я доиграл свою роль, не прибавив, не убавив ни одного слова из того, что мне было предписано автором пьесы. Это более чем избитое сравнение жизни с ролью актера приобретало для меня глубокий смысл. Ведь если я исполнил, как добросовестный актер, свою роль, то, вероятно, я играл и другие роли, участвовал и в других пьесах. Ведь если я не умер после своей видимой смерти, то, вероятно, я никогда не умирал и жил столько же времени, сколько существует мир. То, что вчера являлось мне, как смутное ощущение, превращалось теперь в уверенность. Но какие же это были роли, какие пьесы?

Я начал искать в моей протекшей жизни какого-нибудь ключа к этой загадке. Я стал припоминать поражавшие меня в свое время сны, полные неведомых мне стран и лиц, вспоминал разные встречи, производившие на меня непонятное, почти мистическое впечатление. И вдруг я вспомнил про замок Ларош-Моден.

Это был один из самых интересных и загадочных эпизодов моей жизни. Несколько лет тому назад мы, ради здоровья моей жены, провели почти полгода на юге Франции. Там мы, между прочим, познакомились с очень симпатичным семейством графа Ларош-Модена, который однажды пригласил нас в свой замок. Помню, что в тот день и жена, и я были как-то особенно веселы. Мы ехали в открытой коляске; был один из тех теплых октябрьских дней, которые особенно очаровательны в том краю. Опустелые поля, разоренные виноградники, разноцветные листья деревьев – все это под ласковыми лучами еще горячего солнца приобретало какой-то праздничный вид. Свежий бодрящий воздух располагал невольно к веселью, и мы болтали без умолку всю дорогу. Но вот мы въехали во владения графа Модена, и веселость моя мгновенно исчезла. Мне вдруг показалось, что это место мне знакомо, даже близко, что я когда-то жил здесь... Это ощущение, какое-то странное, ощущение неприятное и щемящее душу, росло с каждой минутой. Наконец, когда мы въехали в широкую аллею, которая вела к воротам замка, я сказал об этом жене.

– Какой вздор! – воскликнула жена. – Еще вчера ты говорил, что даже в детстве, когда ты с покойной матушкой жил в Париже, вы никогда сюда не заезжали.

Я не возражал, мне было не до возражений. Воображение, словно курьер, скакавший впереди, докладывало мне обо всем, что я увижу. Вот широкий двор для воздания почестей, посыпанный красным гербом графов Ларош-Моденов; вот зала в два света, вот большая гостиная, увешанная семейными портретами. Даже особенный, специфический запах этой гостиной – какой-то смешанный запах мускуса, плесени и розового дерева – поразил меня, как что-то слишком знакомое.

Я впал в глубокую задумчивость, которая еще более усилилась, когда граф Ларош-Моден предложил мне сделать прогулку по парку. Здесь со всех сторон нахлынули на меня такие живучие, хотя и смутные воспоминания, что я едва слушал хозяина дома, который расточал весь запас своей любезности, чтобы заставить меня разговориться. Наконец, когда я на какой-то его вопрос ответил уже слишком невпопад, он посмотрел на меня сбоку с выражением удивленного сострадания.

– Не удивляйтесь моей рассеянности, граф, – сказал я, поймав этот взгляд, – я переживаю очень странное ощущение. Я, без сомнения, в первый раз в вашем замке, а между тем мне кажется, что я здесь прожил целые года.

– Тут нет ничего удивительного: все наши старые замки похожи один на другой.

– Да, но я именно жил в этом замке... Вы верите в переселение душ?

– Как вам сказать... Жена моя верит, а я не очень... А, впрочем, все возможно.

– Вот вы сами говорите, что это возможно, а я каждую минуту убеждаюсь в этом более и более.

Граф ответил мне какой-то шутивно-любезной фразой, выражая сожаление, что он не жил здесь сто лет тому назад, потому что и тогда он принимал бы меня в этом замке с таким же удовольствием, с каким принимает теперь.

– Может быть, вы перестанете смеяться, – сказал я, делая невероятные усилия памяти, – если я скажу вам, что сейчас мы пойдем к широкой каштановой аллее.

– Вы совершенно правы, вот она, налево.

– А пройдя эту аллею, мы увидим озеро.

– Вы слишком любезны, называя эту массу воды озером. Мы просто увидим пруд.

– Хорошо, я сделаю вам уступку, но это будет очень большой пруд.

– В таком случае, позвольте и мне быть уступчивым. Это маленькое озеро.

Я не шел, а бежал по каштановой аллее. Когда она кончилась, я увидел во всех подробностях картину, которая уже несколько минут рисовалась в моем воображении. Какие-то красивые цветы причудливой формы окаймляли довольно широкий пруд, у плота была привязана лодка, на противоположном берегу пруда виднелись группы старых плакучих ив... Боже мой! Да, конечно, я здесь жил когда-то, катался в такой же лодке, я сидел под теми плакучими ивами, я рвал эти красные цветы... Мы молча шли по берегу.

– Но позвольте, – сказал я, с недоумением смотря направо, – тут должен быть еще второй пруд, потом третий.

– Нет, дорогой князь, на этот раз память или воображение вам изменяют. Другого пруда нет.

– Но он был наверное. Посмотрите на эти красные цветы! Они так же окаймляют эту лужайку, как и первый пруд. Второй пруд был, и его засыпали, это очевидно.

– При всем желании моем согласиться с вами, дорогой князь, я не могу этого сделать. Мне скоро пятьдесят лет, я родился в этом замке и уверяю вас, что здесь никогда не было второго пруда.

– Но, может быть, у вас живет кто-нибудь из старожилков?

– Управляющий мой, Жозеф, гораздо старше меня... мы спросим его, вернувшись домой.

В словах графа Модена, сквозь его изысканную вежливость, уже ясно проглядывало опасение, что он имеет дело с каким-то маньяком, которому не следует перечить.

Когда мы перед обедом вошли в его уборную, чтобы привести себя в порядок, я напомнил о Жозефе. Граф сейчас же велел позвать его.

Вошел бодрый семидесятилетний старик и на все мои расспросы отвечал положительно, что в парке никогда второго пруда не было.

– Впрочем, у меня сохраняются все старые планы, и если граф позволит их принести...

– О да, принесите их, и поскорее. Надо, чтобы этот вопрос был исчерпан теперь, а то наш дорогой гость ничего не будет есть за обедом.

Жозеф принес планы, граф начал их лениво рассматривать и вдруг вскрикнул от удивления. На одном ветхом плане неизвестных годов были ясно обозначены три пруда, и даже вся часть этого парка носила название: пруды.

– Я опускаю знамя перед победителем, – произнес граф с напускной веселостью, и слегка бледнея.

Но я далеко не смотрел победителем. Я был как-то подавлен этим открытием, – словно случилось несчастье, которого я давно боялся.

Сходя в столовую, граф Моден просил меня ничего не говорить по этому поводу его жене, говоря, что она женщина очень нервная и склонная к мистицизму.

К обеду съехалось много гостей, но хозяин дома и я – мы оба были так молчаливы за обедом, что получили от наших жен коллективный выговор за нелюбезность.

После этого жена моя часто бывала в замке Ларош-Моден, но я никогда не мог решиться туда поехать. Я очень близко сошелся с графом, он часто посещал меня, но не настаивал на своих приглашениях, потому что понимал меня хорошо.

Время понемногу изгладило впечатление, произведенное на меня этим странным эпизодом моей жизни; я даже старался не думать о нем, как о чем-то очень тяжелом. Теперь, лежа в гробу, я старался припомнить его со всеми подробностями и беспристрастно обсудить. Так как теперь я знал наверное, что жил на свете раньше, чем назывался князем Дмитрием Трубчевским, то для меня не было сомнения и в том, что я когда-нибудь был в замке Ларош-Моден. Но в качестве кого? Жил ли я там постоянно или попал туда случайно, был ли я хозяином, гостем, конюхом или крестьянином? На эти вопросы я не мог дать ответа, одно казалось мне несомненным; я был там очень несчастлив; иначе я не мог бы объяснить себе того щемящего

чувства тоски, которое охватило меня при въезде в замок, которое томит меня и теперь, когда я вспоминаю о нем.

Иногда эти воспоминания делались несколько определеннее, что-то вроде общей нити начинало связывать отрывочные образы и звуки, но дружное храпение Савелия и псаломщика развлекало меня, нить обрывалась, и мысль не могла сосредоточиться снова.

Савелий и псаломщик спали долго. Ярко горевшие в паникадилах восковые свечи уже потускнели, и первые лучи ясного морозного дня давно смотрели на меня сквозь опущенные шторы больших окон.

Савелий вскочил со стула, перекрестился, протер глаза и, увидев спавшего псаломщика, разбудил его, причем не упустил случая осыпать его самыми горькими упреками. Потом он ушел, вымылся, приделся, вероятно, выпил здоровую порцию "березовки" и вернулся окончательно ожесточенный.

"Кая польза в крови моей, всегда сходити ми во истление", – начал заунывным голосом псаломщик.

Дом проснулся. В разных углах его послышалась суетливая возня. Опять гувернантка привела детей. Соня на этот раз была спокойнее, а Коле очень понравился парчовый покров, и он уже без всякого страха начал играть кистями. Потом пришла акушерка Софья Францевна и сделала какое-то замечание

Савелию, причем высказала такие тонкие познания в погребальном деле, каких никак нельзя было ожидать от ее специальности. Пришли прощаться со мной дворовые, кучера, кухонные мужики, дворники и даже совсем незнакомые люди: какие-то неведомые старухи, швейцары и дворники соседних домов. Все они очень усердно молились; старухи горько плакали. При этом я сделал замечание, что все прощавшиеся со мной, если это были люди простые, из народа, не только целовали меня в губы, но даже делали это с каким-то удовольствием. Лица же моего круга – даже самые близкие мне люди – относились ко мне с брезгливостью, которая очень бы меня обидела, если б я мог смотреть на нее прежними земными глазами. Приплелась опять Настасья в широком голубом капоте с розовыми цветочками. Костюм этот не понравился Савелию, и он сделал ей строгое замечание.

– Да что же мне делать, Савелий Петрович? – оправдывалась Настасья. – Уж я пробовала темное платье надеть, ни одно не сходится.

– Ну, а не сходится, так и лежала бы у себя на кровати. Другая на твоём месте постыдилась бы и к княжескому гробу подходить с таким брюхом.

– За что же вы ее обижаете, Савелий Петрович? – вступился Семен. – Ведь она мне законная жена, тут греха никакого нет.

– Знаю я этих шлюх законных, – проворчал Савелий и отошел в свой угол.

Настасья страшно смутилась и хотела ответить какой-нибудь уничтожающей колкостью, но не находила слов; только губы ее перекошились от гнева и в глазах оказались слезы.

"На аспида и василиска наступиши, – читал псаломщик, – и попереши льва и змия".

Настасья подошла совсем вплотную к Савелию и сказала ему тихо:

– Вот вы этот аспид и есть.

– Кто это аспид? Ах, ты...

Савелий не окончил фразы, потому что на лестнице раздался сильный звонок, и Васютка бежала с известием, что приехала графиня Марья Михайловна. Зала мгновенно опустела.

Марья Михайловна – тетка жены, очень важная старуха. Она медленными шагами подошла ко мне, величественно помолилась и хотела приложиться ко мне, но передумала и несколько минут трясла надо мной своей седой головой, покрытой черным убором наподобие монашеского, после чего, почтительно поддерживаемая компаньонкой, направилась в комнату жены. Через четверть часа она воротилась, ведя, в свою очередь, мою жену. Жена была в белом

ночном капоте, волосы у нее были распущены, а веки так распухли от слез, что она едва могла открывать глаза.

– Ну же, Зоя, дитя мое. Будьте стойкой, – уговаривала ее графиня, – Вспомни, сколько я перенесла горя, возьми на себя.

– Хорошо, тетя, я буду стойкой, – отвечала жена и решительными шагами подошла ко мне, но, вероятно, я сильно изменился за ночь, потому что она отшатнулась, вскрикнула и упала на руки окружавших ее женщин. Ее увели.

Жена моя, несомненно, была очень огорчена моей смертью, но при всяком публичном выражении печали есть непременно известная доля театральности, которой редко кто может избежать. Самый искренно огорченный человек не может отогнать от себя мысль, что другие на него смотрят.

Во втором часу стали съезжаться гости. Первым вошел высокий еще не старый генерал, с седыми закрученными усами и множеством орденов на груди. Он подошел ко мне и тоже хотел приложиться, но раздумал и долго крестился, не прикладывая пальцев ко лбу и груди, а размахивая ими по воздуху. Потом он обратился к Савелию:

– Ну, что, брат Савелий, потеряли мы нашего князя?

– Да-с, ваше превосходительство, сорок лет служил князю и мог ли я думать...

– Ничего, ничего, княгиня тебя не оставит. И, потрепав по плечу Савелия, генерал пошел навстречу маленькому желтому сенатору, который, не подходя ко мне, прямо опустился на тот стул, на котором ночью спал Савелий. Кашель душил его.

– Ну, вот, Иван Ефимыч, – сказал генерал, – еще у нас одним членом стало меньше.

– Да, с Нового года это уж четвертый.

– Как четвертый? Не может быть!

– Как же "не может быть"? В самый день Нового года умер Ползиков, потом Борис Антоныч, потом князь Василий Иваныч...

– Ну, князя Василия Иваныча считать нечего, он два года не ездил в клуб.

– Однако он все-таки возобновлял билет.

– Ползиков тоже был стар, но князь Дмитрий Александрыч. Помилуйте, в цвете лет и сил, человек здоровый, полный жизни...

– Что делать! "Не весте бо ни дне, ни часа..."

– Да, это все отлично! Но весте, не весте, – это так, а все-таки обидно уезжать вечером из клуба и не быть уверенным, что на другой день опять там будешь! А еще обиднее то, что никак не угадаете, где тебя эта шельма подстережет. Ведь вот князь Дмитрий Александрыч поехал на похороны Василия Иваныча и простудился на похоронах, а мы с вами тоже были и не простудились.

Сенатора опять схватил припадок кашля, после чего он обыкновенно делался еще злее.

– Да-с, удивительная судьба была этого князя Василия Иваныча. Всю жизнь он делал всякие гадости, так ему и подобало. Но вот он умирает; казалось бы, что всем этим гадостям конец. Так вот нет же, на своих собственных похоронах сумел-таки уморить родного племянника.

– Ну, и язычок же у вас, Иван Ефимыч! Ругали бы живых, а то от вас и покойникам достается. Есть такая пословица: о мертвых...

– Вы хотите сказать: "О мертвых или хорошо, или ничего? Но эта пословица нелепая, я ее несколько поправлю; я говорю: О мертвых или хорошо, или плохо. Иначе ведь исчезла бы история, ни об одном историческом злодее нельзя было бы произнести справедливого приговора, потому что все они перемерли. А князь Василий был в своем роде лицо историческое, недаром у него было столько скверных историй..."

– Перестаньте, перестаньте, Иван Ефимыч, будет вам на том свете за язычок ваш... По крайней мере о нашем дорогом Дмитрие Александровиче вы не можете сказать ничего худого и должны сознаться, что это был прекрасный человек...

– К чему преувеличивать, генерал? Если мы скажем, что он был любезный и обходительный человек, этого будет совершенно достаточно. Да поверьте, что и это со стороны князя Трубчевского большая заслуга, потому что вообще князья Трубчевские любезностью не отличаются. Возьмем, чтобы недалеко ходить, его брата Андрея...

– Ну, об этом я с вами спорить не буду: Андрей мне совсем не симпатичен. И чем он так важничает?

– Важничать ему решительно нечем, но не в этом дело-с. Если такой человек, как князь Андрей Александрыч, терпится в обществе, это доказывает только вашу необыкновенную снисходительность. По-настоящему такому человеку не следует и руки подавать.

В эту минуту появился мой брат, и оба собеседника бросились к нему с выражением живейшего сочувствия.

Зала быстро наполнялась. Дамы входили большей частью попарно и становились вдоль стены. Ко мне почти никто не подходил, меня как-то стыдились. Более близкие к нам дамы спрашивали, у брата, могут ли они видеть жену; брат с молчаливым поклоном указывал им на двери гостиной. Дамы в минутном раздумье останавливались в дверях, после чего, опустив головы, как-то ныряли в гостиную, словно купальщики, которые после маленького колебания: решительно бросаются головой вниз в холодную воду.

К двум часам, собрался весь занятный Петербург, так что, будь я тщеславен, вид залы доставил бы мне большое удовольствие. Появились, даже такие лица, о приезде которых тихонько докладывали: брату, и он ходил встречать их: на лестницу.

Я всегда с особенным умилением слушал панихиду, хотя многое в ней казалось мне непонятным. Особенно всегда смущала меня "жизнь бесконечная"; выражение это на панихиде казалось мне горькой иронией. Теперь все эти слова получали для меня глубокий смысл. Я сам жил этой "бесконечной жизнью", а именно находился в том месте, "иде же несть болезни, печали и въздыхания". Напротив того, земные, доходившие до меня въздыхания казались мне чем-то чуждым и непонятным. Когда певчие запели о надгробном рыданий, словно в ответ им раздались сдержанные всхлипывания в разных углах залы. С женой моей сделалось дурно, ее опять увели.

Панихида кончилась. Дьякон густым басом произнес: "Во блаженном успении...", но в это время произошло нечто странное. В зале вдруг потемнело, точно сумерки сразу опустились на землю. Я перестал различать лица, а видел одни черные фигуры. Голос дьякона ослабел и постепенно отдалялся куда-то. Наконец, он замолк совсем, свечи потухли, все для меня исчезло. Я сразу перестал видеть и слышать.

Я очутился в каком-то темном, непонятном для меня месте. Впрочем, я упомянул о месте только по старой привычке: никакого понятия о пространстве для меня не существовало. Времени также не было, так что я не могу определить, сколько длилось то состояние, в котором я находился. Я ничего не видел, ничего не слышал, я только думал – настойчиво, усиленно думал.

Главная загадка, мучившая меня всю жизнь, была разрешена. Смерти нет, есть одна жизнь бесконечная. Я всегда был убежден в этом и прежде, но только не мог ясно формулировать своего убеждения. Основывалось это убеждение на том, что в противном случае вся жизнь была бы вопиющей нелепостью. Человек мыслит, чувствует, создает все окружающее, наслаждается и страдает – и он исчезает. Его тело разлагается и служит к образованию новых тел, – это все могут видеть ежедневно. Но куда же девается то, что сознавало и себя и весь окружающий мир? Если материя бессмертна, отчего сознанию суждено исчезать бесследно? Если же оно исчезает, откуда оно появляется, и какая цель такого эфемерного появления? Я считал это нелепостью и потому допустить не мог.

Теперь я на собственном опыте видел, что сознание не умирает, что я никогда не переставал и, вероятно, никогда не перестану жить. Но в то же время назойливо восставали передо мной новые "проклятые вопросы". Если я никогда не умирал, и всегда буду вновь воплощаться на земле, то какая цель этих последовательных существований? По какому закону они происходят и к чему, в конце концов, приведут меня? Вероятно, я бы мог уловить этот закон и понять его, если бы вспомнил все или хоть некоторые минувшие существования, но отчего же именно этого воспоминания лишен человек? За что он осужден быть вечным невеждой, что даже понятие о бессмертии является ему только в виде догадки? А если какой-нибудь неизвестный закон требует забвения и мрака, зачем в этом мраке являются странные просветы, как это случилось, например, со мной, когда я приехал в замок Ларош-Моден?

И я всей душой схватился за это воспоминание, как утопающий хватается за соломинку. Мне казалось, что если я вспомню ясно и точно свою жизнь в этом замке, это прольет свет на все остальное. Никакое внешнее впечатление меня не развлекало, я мог беспрепятственно вспоминать и старался не думать и не размышлять. И вот с какого-то глубокого душевного дна, точно туман со дна реки, начали подниматься неясные, бледные образы. Замелькали фигуры людей, зазвучали какие-то странные, едва понятные слова, но во всяком воспоминании были пробелы, которых я не мог наполнить: лица людей были окутаны туманом, в словах не было связи, все состояло из каких-то обрывков. Вот семейное кладбище графов Ларош-Моденов. На белой мраморной плите я явственно читаю черные буквы: Здесь покоится высокородная дама.... Рядом саркофаг с мраморной урной, на которой я читаю: Здесь покоится сердце маркиза.... Вот раздается в моих ушах крикливый, нетерпеливый голос, зовущий кого-то: «Зо... Зо...» Я напрягаю память и к великой радости явственно слышу имя: «Зоробабель! Зоробабель!» Это имя, столь мне знакомое, внезапно вызывает целый ряд картин. Я – на дворе замка, в большой толпе народа. "В комнате короля! В комнате короля!" – повелительно кричит тот же резкий, нетерпеливый голос. В каждом старинном французском замке была комната короля, т. е. комната, которую занимал бы король, если бы он когда-нибудь посетил замок. И вот я до мельчайших подробностей вижу эту комнату в замке Ларош-Моден. Потолок разрисован розовыми амурами с гирляндами в руках, стены покрыты гобеленами, изображающими охотничьи сцены. Я ясно вижу большого длиннорогого оленя, в отчаянной позе остановившегося над ручьем, и трех настигающих его охотников. В глубине комнаты альков, увенчанный золотой короной; по синему штофному балдахину вышиты белые лилии. На противоположной стороне большой портрет короля во весь рост. Я вижу грудь в латах, вижу длинные, немного кривые ноги в лосинах и ботфортах, но лица никак разглядеть не мог. Если бы я разглядел лицо, я бы узнал, может быть, в какое время я жил в этом замке, но именно этого я не вижу, какой-то тугой, упрямый клапан в моей памяти не хочет открыться. "Зоробабель! Зоробабель!" – кричит повелительный голос. Я напрягаю все силы, и вдруг в капризной памяти открывается совсем другой клапан. Замок Ларош-Моден исчезает, и новая, неожиданная картина развертывается предо мною!

Я увидел большое русское село. Бревенчатые избы, крытые соломой, тянулись под гору по обеим сторонам широкой улицы. Был серый осенний день, а может быть, и вечер. Холодный дождь падал мелкими и частыми каплями с одноцветного неба, ветер гудел и свистал по широкой улице, и, поднимая солому с полуразобранных крыш, крутил ее в воздухе. Внизу маленькая речонка быстро катила свои свинцовые вздувшиеся волны. Я перешел на ту сторону реки, горбатый мост без перил задрожал под моими ногами. С моста были две дороги: налево, в гору, продолжалось село, направо, словно нагнувшись над оврагом, стояла старая деревянная церковь с зеленым куполом. Я пошел направо. За церковью виднелось несколько насыпей с почерневшими от времени крестами, между могилами качались по ветру мокрые, почти обнаженные ветви молодых берез; вся земля, словно ковром, была покрыта желто-бурыми листьями.

Дальше шло черное, совсем голое поле. И, несмотря на эту безотрадную картину, чем-то родным и хорошим повеяло на меня из далекой протекшей там жизни. Но отчего же такой мрак и такое безлюдье кругом? Отчего не видно ни одного живого лица? Отчего все избы растворены настезь? В какое время был я в этом селе? Было ли это во времена нашествий татарских или позже? Иноземный ли разорил это гнездо, или свои внутренние вору выгнали жителей в леса и степи?

Я вернулся к мостику и пошел налево в гору. И там то же безлюдье, те же следы разрушения. Около обвалившегося колодца я увидел, наконец, живое существо. Это была старая, страшно исхудалая собака, вероятно; умиравшая от голода. Вся шерсть ее вылезла, спина и бока представляли почти обнаженные кости. Увидев меня, она с невероятными усилиями поднялась на ноги, но двинуться не могла и, упав в грязь, жалобно завывала.

Всеми силами души своей я старался представить себе это родное село при какой-нибудь другой обстановке. Ведь и здесь вставали румяные зори, и солнце пышно закатывалось за горой, и поле колосилось рожью, и речка замерзала, и вся гора искрилась серебром в морозные лунные ночи... Но как ни напрягал я свою память, не мог вспомнить ничего подобного. Словно круглый год серое небо поливало несчастное село мелким дождем, да ветер свободно входил в раскрытые избы и вырывался на простор через праздные, никому не нужные трубы.

Рамки моей памяти раздвигались все шире и шире. Предо мной проходили далекие, давно забытые и, как мне казалось, никогда не виданные страны, дикие леса, какие-то гигантские бои, в которых к людям примешивались и звери. Но это были туманные очертания, из которых еще не складывалось никакого определенного образа. Среди этих картин промелькнула девочка в голубом платье. Эта девочка была мне давно знакома; во время моего последнего существования она изредка являлась мне во сне, и я всегда считал такой сон дурным предзнаменованием. Это была девочка лет десяти, худая, бледная и некрасивая, только глаза у нее были чудесные: черные, глубокие, с серьезным, совсем не детским выражением. Иногда эти глаза выражали такое страдание и такой испуг, что, встретившись с ее взглядом, я немедленно просыпался с биением сердца и с каплями холодного пота на лбу. После этого я бывал уже не в силах заснуть и несколько дней находился в раздраженном, нервном состоянии. Теперь я убедился в том, что девочка эта действительно существовала, и что я ее знал когда-то... Но кто была она? Была ли она мне дочь, или сестра, или совсем посторонняя? И отчего в ее испуганных глазах выражалось такое нечеловеческое страдание? Какой изверг мучил этого ребенка? А может быть, я сам мучил ее когда-то, и она являлась мне во сне, как наказание и упрек.

Странно, что среди моих воспоминаний не было вовсе веселых, радостных, что мои внутренние очи читали только страницы зла и горя. Конечно, бывали в моих существованиях и радостные дни, но, вероятно, их было немного, потому что они забылись и потонули в море всяких страданий. А если это так, то к чему же самая жизнь? Нельзя же предположить, что жизнь устроена для одного страдания. Есть ли у нее какая-нибудь другая конечная цель? Вероятно, есть, но узнаю ли я ее когда-нибудь?

Ввиду этого незнания мое теперешнее положение, т. е. состояние безусловной неподвижности и покоя, должно бы было мне казаться верхом блаженства. А между тем из всего этого хаоса неясных воспоминаний и отрывочных мыслей начало у меня выделяться одно странное чувство: меня потянуло опять в ту юдоль мрака и скорби, из которой я только что вышел. Я старался заглушить в себе это ощущение, но оно росло, крепло, побеждало все доводы, – и, наконец, перешло в страстную, неудержимую жажду жизни.

О, только бы жить! Я вовсе не прошу продолжения моего прежнего существования, мне все равно, чем родиться: князем или мужиком, богачом или нищим. Люди говорят: "Не в деньгах счастье" – и, однако, считают счастьем именно те блага жизни, которые приобретаются за

деньги. Между тем счастье не в этих благах, а во внутреннем довольстве человека. Где начинается и где кончается это довольство? Все сравнительно, все зависит от горизонта и от масштаба. Нищий, протягивающий руку за грошом и получающий от неизвестного благодетеля рубль, испытывает, быть может, большее удовольствие, нежели банкир, выигрывающий неожиданно двести тысяч. Я и прежде так думал, но утвердиться в этих мыслях мешали мне предрассудки, внушенные с детства и признававшиеся мной за аксиомы. Теперь эти миражи рассеялись, и я вижу все гораздо яснее.

О, только бы жить! Только бы видеть человеческие лица, слышать звуки человеческого голоса, войти опять в общение с людьми... со всякими людьми: хорошими и дурными! Да и есть ли на свете безусловно дурные люди? И если вспомнить те ужасные условия бессилия и неведения, среди которых осужден жить и вращаться человек, то скорей можно удивляться тому, что есть на свете безусловно хорошие люди. Человек не знает ничего из того, что ему больше всего нужно знать. Он не знает, зачем он родился, для чего живет, почему умирает. Он забывает все свои прежние существования и не может даже догадываться о будущих.

О, я хочу вернуться к этим несчастным, жалким, терпеливым и дорогим существам! Я хочу жить общей с ними жизнью, хочу опять вмешаться в их мелкие интересы и дразги, которым они придают такое важное значение. Многих из них я буду любить, с другими бороться, третьих ненавидеть, – но я хочу этой любви, этой ненависти, этой борьбы!

О, только бы жить! Я хочу видеть, как солнце опускается за горой, и синее небо покрывается яркими звездами, как на зеркальной поверхности моря появляются белые барашки, и целые скалы волн разбиваются друг о друга под голос неожиданной бури. Я хочу броситься в челнок навстречу этой буре, хочу скакать на бешеной тройке по снежной степи, хочу идти с кинжалами на разъяренного медведя, хочу испытать все тревоги и все мелочи жизни. Я хочу видеть, как молния разрезает небо и как зеленый жук переползает с одной ветки на другую. Я хочу обонять запах скошенного се на и запах дегтя, хочу слышать пение соловья в кустах сирени и кваканье лягушек у пруда, звон колокола в деревенской церкви и стук дрожек по мостовой, хочу слышать торжественные аккорды героической симфонии и лихие звуки хоровой цыганской песни.

О, только бы жить! Только бы иметь возможность дохнуть земным воздухом и произнести одно человеческое слово, только бы крикнуть, крикнуть!..

И вдруг я вскрикнул, всей грудью, изо всей силы вскрикнул. Безумная радость охватила меня при этом крике, но звук моего голоса поразил меня. Это не был мой обыкновенный голос: это был какой-то слабый, тщедушный крик. Я раскрыл глаза; яркий свет морозного ясного утра едва не ослепил меня. Я находился в комнате Настасьи. Софья Францевна держала меня на руках. Настасья лежала на кровати, вся красная, обложенная подушками, и тяжело дышала.

– Слушай, Васютка, – раздался голос Софьи Францевны, – продерись как-нибудь в залу и вызови Семена на минутку.

– Да как же я туда продерусь, тетенька? – отвечала Васютка. – Сейчас князя выносить будут, гостей собралось там видимо-невидимо.

– Ну, как-нибудь продерись, на минутку всего вызови, ведь все-таки отец.

Васютка исчезла и через минуту воротилась с Семеном. Он был в черном фраке, обшитом плерезами, и держал в руке какое-то огромное полотенце.

– Ну, что? – спросил, он, вбегая.

– Все благополучно, поздравляю, – произнесла торжественно Софья Францевна.

– Ну, слава тебе, господи, – сказал Семен и, даже не посмотрев на меня, побежал обратно.

– Мальчик или девочка? – спросил он уже из коридора.

– Мальчик, мальчик!

– Ну, слава тебе, господи, – повторил Семен и скрылся.

В это время Юдишна оканчивала свой туалет перед комодом, на котором стояло старое кривое зеркало в медной оправе. Повязав голову черным шерстяным платком, чтобы идти на вынос, она обратила негодующий взгляд на Настасью.

– Нашла тоже время, нечего сказать. Князя выносят, а она в это время рожать вздумала. О, чтоб тебя!..

Юдишна с ожесточением плюнула и, набожно крестясь, поплыла по коридору. Настасья ничего ей не ответила, только улыбнулась ей вслед какой-то блаженной улыбкой.

А меня выкупали в корыте, спеленали и уложили в люльку. Я немедленно заснул, как странник, уставший после долгого утомительного пути, и во время этого сна забыл все, что происходило со мной до этой минуты. Через несколько часов я проснулся существом беспомощным, бессмысленным и хилым, обреченным на непрерывное страдание.

Я вступал в новую жизнь...

Николай Брешко-Брешковский «Черный барин»

С холодной и тихой злобой, – она долго накапливалась, – Мария Никитична в сотый раз, да что в сотый – конца краю не было! – спросила жильца:

– Когда же вы мне за комнату отдадите? Четвертый месяц пошел. Четвертый месяц!

Агашин, тоненький, бритый, с бородавкой на щеке, нисколько его не портившей, развел руками с виноватым, но ничуть не приниженным видом.

– Ах, дорогая моя Мария Никитична, если б я знал когда, – я был бы счастливейший смертный. "Когда б я знал, когда б я знал!" – запел он фальшиво.

– Вы мне тут, сударь мой, бобов не разводите. Я вас толком, по-человечески спрашиваю? Грешно и, можно сказать, подло так поступать. Я женщина бедная, живу на вдовьи крохи, а вы, – губы ее запрыгали, – вы лоботряс, лежебок!

Агашин вспомнил тех фатов, которых он играл иногда в народном театре "Вена" по Шлиссельбургскому тракту и принял обиженный, негодующий вид.

– Сударыня, вы забываетесь. Пользуясь тем, что вы женщина, вы осмеливаетесь безнаказанно оскорблять меня.

И он стоял перед нею, засунув руки в обтрепанные карманы светлых легоньких панталон, – осенний костюм был заложен, – и, покачиваясь на каблуках, с презрительной гримасой смотрел на хозяйку.

Она ответила ему полным ненависти взглядом и вдруг, круто повернув и плюнув, ушла вглубь коридора.

– Обормота несчастная!..

Агашин сделал вид, что не слышит и, насвистывая, скрылся в своей комнате. Это был газетный репортер. Он писал обо всем: о пожарах, убийствах, об антисанитарности выгребных ям, о великосветских раутах, о заседаниях ученых обществ, о панихидах, о собачьих выставках.

Он посещал бесплатно всевозможные увеселения, частные театры, синематографы и предьявлял контролю, вместо билета, свою визитную карточку.

Вот уже несколько месяцев Агашин сидел без работы. "Невские Зарницы", где он главным образом подвизался, перестали печатать его заметки.

Причина более чем уважительная. Агашин сознательно выставил газету в глупом и смешном виде. Он побился с приятелем на дюжину пива, что в описании одного аристократического бала вставит целиком следующую фразу: "Среди присутствующих мы заметили К. П. Победоносцева в декольтированном платье цвета крем-брюле". Фраза не только была вставлена в отчет, но, к величайшему ужасу издателя и редактора, появилась на следующий день в газете. Выпускающий номер получил соответствующую головомойку, а редакционному рассыльному было приказано:

– Явится этот мерзавец Агашин, – гоните его в шею...

Но Агашин при всей своей смелости в редакцию так и не явился.

В остальных газетах его боялись.

"И нас этот негодяй подведет, чего доброго".

И вот уже несколько месяцев он сидел без работы. Жил подобно птице небесной, не платил за комнату и в ноябрьский дождь, и холод путешествовал в летних сиреневых панталонах.

Комнатка – неуютная, узкая. Железная кровать, серая, несвежая простыня. Съехавшее на пол одеяло. На столе, в обществе чайника с отбитым носом – воротничок-монополь и пузырек с высохшими чернилами, – улика полного творческого застоя у Агашина.

Оставшись один, этот репортер не у дел умолк. Незаметно подкрался голод. Хорошо бы холодную рюмку водки, несколько горячих сосисок... И все это покрыть бокалом доброго пива...

Мечты, мечты... В кармане даже заваливающей копейки не найдется. А в соседнем трактире "Византия" больше не верят в долг... Но, во-первых, Агашину хотелось во что бы то ни стало осуществить мечту о холодной водке, сосисках и пиве, а, во-вторых, изобретательная голова его осенялась иногда прямо гениальными идеями. Весь вопрос – удастся ли? Он сообщил своему облику внушающий доверие вид, насколько это возможно было при его печальных обстоятельствах, надел порядком измятый цилиндр, вычистил пальто, достиг Невского и твердо, уверенно вошел в большой книжный магазин.

– Я хотел бы видеть господина управляющего.

– Я к вашим услугам.

– За последнее время вашей фирмой выпущены такие-то и такие-то книги; вам хотелось бы видеть рецензии о них в... – Агашин назвал распространенную газету.

– С нашим удовольствием...

– В таком случае, дайте мне эти книги. Я ознакомлюсь с ними и напишу.

Ему завернули довольно большой пакет. Агашин отправился на Литейный, и за два с полтиной продал все книги букинисту. В результате – не только скромный завтрак с сосисками, но и бефстроганов и чашка крепкого черного кофе с коньяком и сигара.

Домой его не тянуло нисколько. Опять привяжется эта дура. Он шел, дымя сигарой, бросая взгляды на женщин и насвистывая "Ойру", на этот раз вполне искренно, без всякой рисовки.

Только третий час, а уже темно и горят фонари. Огоньки их так одиноко маячат в этой влажной, туманной мгле и кажется, что эти озабоченно снующие фигуры – не люди, а призраки. Даже чугунный конь, взвившийся на дыбы у Аничкина моста, и тот мнится призрачным. Дали заволакиваются гуще, и в пятидесяти шагах – неясная трепетная муть, порождающая силуэты колясок, пешеходов, лошадей и автомобилей.

Туман, унылый, гнетущий, нисколько не омрачал настроения Агашина. Даже наоборот. Под его мистическим покровом – у него так и мелькнуло: "под его мистическим покровом" – недурно было бы завести знакомство с какой-нибудь интересной женщиной. Вот впереди стройная фигурка. Отчетливо и бодро ступают высокие каблочки изящно обутых маленьких ножек. Агашин ускорил шаги. Он знал толк в женской походке... Вот он рядом с нею... Вот обогнал ее... Задорное личико брюнетки. Агашин любил брюнеток. Он умышленно задержался. Она опередила его и, поощрив мимолетной улыбкой, повернула на Екатерининский канал. Агашин – за нею. Несомненно, он произвел впечатление. Он догонит незнакомку и учтиво, как воспитанный молодой человек, приподняв цилиндр, заговорит...

Правда, его скудные финансы мешают пригласить ее отобедать вместе, но для чашечки шоколада в кафе у него хватит еще серебряной мелочи.

Экая досада!.. Впереди на панели у одного из подъездов – толпа. Брюнетка, уже теряясь в тумане, ловко проскользнула вперед... Но Агашин не мог этого сделать. Гуще сомкнулась толпа. На мгновение репортер заглушил в нем уличного донжуана. Что-нибудь да случилось. Неспроста же народ здесь.

Мелькает в воздухе белая вязаная перчатка городского.

– Так что, проходите, господа... Что случилось?.. Ничего не случилось!..

Репортер наметил серое пальто полицейского офицера и, хотя тот был лишь поручик, Агашин сразу повисил его на два чина.

– Не откажите, господин капитан, сказать, что именно случилось?.. Фамилия моя Агашин... Я – сотрудник "Невских Зарниц"... Агашин...

Польщенный поручик ответил охотно.

– Убийство, видите ли вы... Здесь во втором этаже артистка Скарятинна жила, опереточная... Ну так вот, сегодня утром... в постели мертвая... А ты изволь здесь дежурить...

Но репортер уже не слышал последних слов. Он чуял богатый материал, смаковал "целый океан" строк, и с раздувающимися от волнения и профессионального аппетита ноздрями ринулся в подъезд. Широкая лестница, темно-вишневая дорожка. Вот и второй этаж. Большая медная доска с надписью: "Антонина Аркадьевна Скарятинна". Доска, теперь ненужная, лишняя, так празднично сияет, словно ничего и не случилось.

Околоточный преградил Агашину путь.

– Нельзя-с, посторонним нельзя!..

Агашин моментально превратился в фата из народного театра по Шлиссельбургскому тракту и, оттопырив губу, свысока, вернее снизу, посмотрел на околоточного, который был еще выше его и крупнее.

– Во-первых, я не посторонний, а во-вторых, прежде чем мешать мне, я вам посоветовал бы спуститься вниз и спросить у поручика... Я, милостивый государь, здесь не посторонний... Дайте дорогу!..

Околоточный пожал плечами и решил: "сыщик, верно".

Агашин очутился в обширной передней с темно-красным сукном во весь пол. Какие-то грубые, чужие голоса. Дворники, околоточные, следы грязных ног. В это уютное гнездышко с его пряным комфортом, созданном для веселой беспечной любви с ужинами, тройками и шампанским, вдруг ворвалась улица... А в гостиной благоухают корзины цветов, поднесенных вчера Скарятинной. И вот она сама на портретах улыбается полуобнаженная, гордая своей красотой и своим телом.

Раскрытый рояль. Ноты цыганского романса. И цветы, и откровенные соблазнительные портреты, и цыганские романсы, – все это совсем, совсем ненужное теперь... Агашин протолкался в спальню. Как репортера, его принимали в дорогих кабинетах, гостиных, но такой роскошной кровати под балдахином с кистями он никогда не видел. И в этом интимном уголке, с правом входа лишь для избранных счастливых, толкуются теперь как на аукционе. Красный дворничий затылок и рядом – изрытое оспую лицо с бегающими глазами, – без всякого сомнения – сыщик. Громадные резиновые галоши околоточного топчут дорогой мех белого медведя. Тот самый мех, на котором, быть может, вчера еще нежилась в истоме красавица... Тяжелая морда с маленькими глазками и страшным оскалом зубов, наверное, могла бы порассказать многое...

А теперь она лежала, как-то скрючившись, закостеневшая, в тонкой батистовой сорочке и с подурневшим от страдальческой гримасы лицом.

И если прежде на нее разорялись и за счастье ласкать это тело подставляли свой лоб противнику, то теперь смотреть на нее было стыдно и жалко. Тайну красивой и грешной женщины взяли и выволокли на улицу.

Через несколько минут Агашин был в этой спальне, как у себя дома. Он успел поговорить и с заплаканной румяной горничной, и с доктором и закидал вопросами производившего дознание судебного следователя.

Официальным покровителем опереточной дивы считался нефтепромышленник Хачатуров. Но в Петербурге он бывал лишь наездами, живя в Баку и часто бывая в Париже и Ницце. Кроме него были еще и другие, которых покойница дарила своей близостью.

И вот безмятежное существование оборвалось так трагически. Горничная Груша встала, как всегда, в девятом часу, убрала комнаты, а в одиннадцать, – это уж было заведено раз навсегда, – внесла барыне в спальню кофе.

– Глянула, – Боже мой, поднос так и загремел!.. Лежит моя родненькая Антонина Аркадьевна вот как сейчас, и ножка подогнута, а на груди ранка...

Агашин поманил заплаканную девушку и высыпал ей в ладонь всю имевшуюся у него мелочь.

– Голубушка, не волнуйтесь и спокойно отвечайте на те вопросы, которые я вам предложу... Цель убийства романическая, быть может, ревность? Он не перенес, что другой обладал ею?

– Полноте, барин, какая там ревность, тысяч на тридцать бриллиантов унесено.

Агашин поморщился.

– Это уже мне не так нравится, но все же и это интересно... Тысяч на тридцать, говорите вы? Неужели у покойницы было так много бриллиантов?..

– Много, барин, страсть много! Без счету дарили. Один этот керосинщик из города Парижа сколько привозил! То брошку, то серьги, то диамеду. И все от господина Лялика. Это уж, говорят, из первых первых...

Агашин чиркал что-то в записную книжку.

– Великолепно, дорогая моя. Простите, я перебыю нить ваших драгоценных мыслей. Вы говорите, что такой у вас порядок заведен был, – в одиннадцать часов подавать ей прямо в постель кофе. Но ведь, согласитесь, подобный образ действий не всегда удобен... А вдруг барыня там не одна в спальне?

С достоинством покачав головой, девушка возразила:

– У нас такого не было заведения. У нас дом строгий. Мы никому не позволяем ночевать.

– Вы меня не так поняли, голубушка. Я вовсе не желаю набрасывать тень на репутацию вашего почтенного дома. Но меня лишь интересует вопрос, был ли кто-нибудь вчера в эту фатальную для вашей бедной барыни ночь?

Горничная торопливо закивала.

– Был, был. Его рук дело, душегуба!.. Кто же другой? Он и порешил, он и бриллианты унес...

– В таком случае, – развел руками Агашин, – все ясно, как шоколад. Почему же не арестуют этого господина?

– Кого, барин?

– Понятное дело кого, – убийцу!

– А вы его знаете?

– Я? Вот вопрос! Откуда же я могу знать...

– И я не знаю, барин, и никто не знает... Потаенный человек он – вот что!

Репортер узнал следующее:

Вот уже около года у Скарятиной бывал какой-то "черный барин". Он тщательно скрывал и свое имя, и свои посещения. Никогда и нигде не показывался вместе с Антониной Аркадьевной, не провожал ее из театра. Уходил и приходил по черному ходу... Так легче замести следы. На парадной всего шесть квартир. Швейцар наперечет знает кто куда ходит в гости. А во дворе – квартир видимо-невидимо. Да и много ли там разберет сонный дворник?

Одевался "черный барин" хорошо. Вид имел солидный, внушительный. На чай давал щедро. Когда рубль, когда трешку, когда и золотой.

Белье тонкое и по обхождению видать, – заправский барин. А только вряд ли сама покойница толком знала его настоящее имя... Чужих при нем никогда не бывало. Все один, да один...

– Ну, а вчера он ушел поздно?..

– Кто его знает. Может в четыре, а может и в пятом... Мы с кухаркой Прасковьей рядом с кухней спим. У нас – комнатка. Мы и не слышали... Нам ни к чему...

– А кто же дверь за ним запер?

– Сам. С той поры, как стал он ходить к нам, барыня велела американский замок приделывать на черную лестницу...

Репортер задал горничной еще несколько вопросов и взялся за доктора.

– Кинжал – ни в коем случае! Рана маленькая. Потеря крови самая незначительная. Преступник заколол ее тонким четырехгранным стилетом, чрезвычайно острым. Такие обыкновенно бывают скрыты в заграничных тростях.

Агашин от доктора опять к горничной:

– Вы не помните, голубушка, этот чертов, или как там его, черный барин пришел вчера с палочкой?

– Не помню, была, кажись... Ни к чему это мне...

Агашин бомбой влетел в кабинет редактора "Невских Зарниц".

– Вы? – только и мог сказать изумленный редактор.

– Я, собственной персоной, – ударил Агашин себя указательным пальцем в грудь.

– Но... но вас же не велено пускать в редакцию... Рассыльный! Где рассыльный? – и редакторский палец потянулся к затерянной где-то под столом кнопке.

Агашин остановил его жестом, не лишенным величия.

– Будет вам, Александр Максимыч! Подождите мгновение. Что, не можете забыть декольтированного Победоносцева?... Так слушайте же. У меня в кармане бешеная сенсация, да какая! Опереточная примадонна убита с целью грабежа своим великосветским поклонником... похищены бриллианты польского королевского дома.

– Агашин, голубчик, врете, ведь врете все! – с дрожью в голосе и каким-то сладостным трепетом потянулся румяный и тучный Александр Максимович к репортеру, словно перед ним было чарующее видение, которое вот-вот исчезнет.

Но Агашин и не думал исчезать. Сейчас в этом кабинете он чуял под собою прямо на редкость твердую почву. В ответ на редакторские сомнения, он бросил спокойно:

– По двадцать копеек строка, не меньше трехсот строк и – деньги под рукопись.

– Голубчик, возьмите по десять?

– Я вижу, больше мне здесь нечего делать. Иду в "Петербургские Отблески".

– Ну пятнадцать?

– Имею честь кланяться, надо уважать печатное слово. Торг недопустим здесь.

Редактор махнул рукой, – пропадать, так пропадать.

– Давайте же ее, давайте скорей!

– Кого?

– О, будьте вы прокляты, – конечно рукопись!

– Она у меня вся в голове. Взял и написал.

– Так пишите, пишите скорей! Садитесь рядом в соседней комнате и пишите. Да разбейте на пикантные заголовки. Где? На Екатерининском канале? Скарятинна? Вот ужас! Позавчера смотрел ее. Полуголая вышла на сцену... Скорее, Агашин, скорее...

Через два часа Агашин протянул редактору целую пачку разгонисто и крупно написанных листочков. Александр Максимович с торопливой жадностью просматривал фельетон, задерживаясь на пикантных подзаголовках.

– ...Между рампой и смертью... Кровавая ночь любви... Горничная-наперсница... Бриллианты королевского дома... – бормотал весь красный от удовольствия редактор. И, сложив рукопись, пометив ее к набору, он позвонил рассыльного, уже не замечая присутствия репортера.

– В типографию, Павел, сейчас же!..

Но Агашин резко напомнил о себе, став между Александром Максимовичем и рассыльным.

– Этот номер не пройдет!
– В чем дело, голубчик?
– Сначала, согласно условию, будьте добры дать мне записку в контору на получение шестидесяти рублей.

Редактор пожал своими толстыми бабьими плечами.

– Ну извольте, извольте, пишу! Какой вы колючий, Агашин...

– Будешь колючим, когда за комнату надо платить. У меня от шестидесяти рублей сегодня же и хвостика не останется, а я на завтра вам дал бешеную розницу.

– Вот вам записка... Вы – способный хроникер, Агашин, только лоботряс... Ну, до свидания. Работайте, пишите, носите! Только, ради Бога, не давайте мне декольтированных сановников, очень вас прошу!

– Не буду больше, – закаялся.

С гордо поднятой головой покинул Агашин редакторский кабинет.

В жизни Агашина этот день сыграл видную роль. Репортер сразу и круто пошел в гору. На следующее утро "Невские Зарницы" ликовали. В остальных газетах были коротенькие сообщения по поводу загадочного убийства Скарятиной, а в "Невских Зарницах" – громадный обстоятельный фельетон – целое дознание.

Агашин получал жалованье и гривенник со строки. Он жил в шикарном меблированном номере на Невском. Щеголял в тонком белье, чисто выбритый, в ловко сшитом пальто с каракулевым воротником и в сверкающем цилиндре. Он приобрел независимый, сытый вид, напоминая внешностью заправского столичного артиста, а не захудалого актеришку откуда-то из-под Невской Заставы. Ему давали ответственные поручения.

– Съездите, пожалуйста, на бал к японскому посланнику и опишите его... Поговорите с министром земледелия о превращении архангельских тундр в житницы... Нельзя ли узнать, как Репин смотрит на декадентов?

И Агашин описывал раут японского посланника, решал с министром земледелия судьбу архангельских тундр и с видом человека, для которого вся история искусств – открытая книга, выслушивал страстные громы Репина по адресу декадентов.

Одними строчками Агашин выработывал около двадцати рублей в день,

И все это благодаря капризному случаю. Не гуляя он по Невскому в тот осенний туманный день и не заинтересуясь пикантной брюнеткой, он не свернул бы по Екатерининскому каналу и не было бы того, что теперь...

А убийцу Скарятиной так и не нашли. Сыскная полиция с ног сбилась, но след таинственного "черного барина" так и пропал. Сгинул, сквозь землю провалился.

Поговорили, поговорили об этом загадочном убийстве и скоро забыли, как забывают все на свете.

Вместо Скарятиной пела в опереточном театре другая примадонна, моложе, красивей и с еще большим количеством бриллиантов. И никто не вспоминал про Скарятину.

А бойкие столичные газеты в погоне за "сенсацией" взапуски рекламировали новую знаменитость. Это был маг и волшебник Николай Феликсович Леонард, в отдаленном прошлом кавалерийский офицер, потом земский начальник где-то в глухой Сибири и, наконец, гипнотизер, на глазах у всех совершающий чудеса... Кучка завзятых скептиков называла его шарлатаном, но большинство верило в него безгранично. Наложением рук он лечил больных, алкоголиков, эпилептиков, и они уходили от него исцеленными. Вокруг Леонарда выросла группа его рьяных поклонников и поклонниц. Они внимали каждому его слову. Он был для них кумиром и они верили в него, как в Бога.

В газетах печатались его портреты, отрывки биографий, рассказывались подробно совершенные им чудеса. Это был самый модный человек в Петербурге, затмивший своей популяр-

ностью даже Плевицкую. Называли барышню из общества Башилову, которая под внушением Леонарда битыми часами декламировала неведомые стихотворения и поэмы. Все это записывалось тут же стенографисткой, расшифровывалось и получалась какой-то сказочной красоты поэзия.

Называли художницу Любарскую. Говорили, что на сеансах у этого волшебника она впадала в транс и сумбурной эскизной манерой, сама не зная что выйдет, рисовала какие-то кошмары. Обыкновенное же ее творчество, создавшее имя Любарской, носило изящный, салонный характер.

Однажды редактор пригласил Агашина к себе в кабинет.

– Вот что, дорогой Иван Никанорович, – теперь он уже не называл его больше Агашиным, – необходимо утереть нос этим "Петербуржским Отблескам". Вот в чем дело. Я под строжайшим секретом узнал: сегодня ночью у Леонарда будет художественный сеанс с этой Любарской. И вот что, дорогой, – если бы вы знали чего это мне стоило!.. – я выхлопотал вам право быть на сеансе. Кроме вас – ни одного газетчика. Ни-ни!.. Вы понимаете, какую мы сенсацию поднесем публике! Конфетка будет! Поезжайте сегодня туда к полуночи, посмотрите, понаблюдайте и напишите этаким сочным фельетончик. Побольше таинственности. Если нужно – приврите! Ну что вам стоит?

– Мне – ровно ничего. Это будет стоить редакции, вернее – конторе.

– Вот видите, какой вы умный умница. Итак...

– Итак, я буду сегодня на этом художественном сеансе...

– Желаю успеха. Только знайте, дорогой, побольше бы туда кайенского перчику!

Оставив пальто у швейцара, Агашин в новеньком с иголки сюртуке поднялся вверх по широкой мраморной лестнице. В обширной передней его встретил немолодой лакей с угрюмым, неподвижным лицом. Громадная, залитая электрическим светом гостиная. Золоченая мебель отражалась в холодном, как лед, сияющем паркете. На одном из этих золоченых стульев сидела важная старуха, вся в черном. Агашин поклонился ей и она ответила чуть заметным кивком.

Агашин ежился, – так было холодно. Через несколько минут угрюмый лакей принес в корзине кокс и затопил мраморный камин. По направлению Агашина лакей уронил:

– Николай Феликсович скоро выйдут... У них больные...

В гостиную входили новые люди. Высокая, тонкая девушка с печальной кривой линией маленького рта. Молодой человек, бледный, бескровный с каким-то белесым пухом вместо волос на голове.

Бесцветная дама неопределенного возраста, неопределенной внешности.

Агашин сначала стеснялся этих новых людей, но обычный репортерский апломб явился к нему на помощь, и он живо со всеми перезнакомился. Важная старуха в черном оказалась польской графиней. Она приехала в качестве почетной гостьи. Графиня варварски искажала русскую речь и предпочитала изъясняться по-французски с тонкой барышней, которая говорила, как парижанка. Эта девушка с кривой линией губ и была та самая Башилова, о которой писали в газетах.

Бледный молодой человек отчетливо назвал Агашину какую-то немецкую фамилию, потряс его руку своими бескостными, мягкими пальцами и с доверчивым открытым видом сообщил:

– Вы знаете, что проделывает со мною Николай Феликсович? Достаточно одного прикосновения, чтобы весь я забился в конвульсиях. Он научил меня безболезненно втыкать иглы в собственное тело...

Публика все прибывала и прибывала. Незнакомые осматривали друг друга, знакомые собирались в группы. И все говорили вполголоса, кидая взгляды на ту дверь, откуда с минуты

на минуту должен был показаться современный Калиостро. Агашин так и окрестил свой будущий фельетон: "У современного Калиостро", хотя сам, говоря по правде, имел понятие весьма смутное о знаменитом кудеснике восемнадцатого века.

Итак, все ждали и всем напряженно хотелось встретить Леонарда. Поэтому никто и не уловил момента его появления. Он как-то неслышно вошел, и его тогда лишь заметили, когда, почтительно изогнувшись пред польской графиней, Николай Феликсович с повадкой старосветского придворного целовал ее руку. Выпрямившись, он оказался пожилым человеком, невысокого роста. Агашин мысленно "записал" его австрийскую блузу, синие кавалерийского образца панталоны со штрипками и дамские прюнелевые туфли с высокими каблуками, на крохотных, уродливо-крохотных для мужчины, ножках.

Леонард отыскал глазами в толпе Агашина и прямо подошел к нему. И заговорил с тою же учтивой манерою придворного петиметра былых времен:

– Очень рад познакомиться... Александр Максимович мне так хорошо говорил о вас. Хотел бы думать, что вам здесь не будет скучно. Любарской еще нет, но вы слышите звонок? Это – ее звонок. А после сеанса вы доставите мне большое удовольствие – осмотреть мою скромную приемную, где я лечу больных.

Агашин совсем близко видел чисто выбритое лицо с красными жилками и военными усами. Видимо, здорово "прогусарил" свою молодость Николай Феликсович, и много шампанского было выпито, а теперь он вел аскетическую жизнь, не ел, а вкушал, и, кроме кваску да чаю, ничего не пил.

Леонард не ошибся. Вошла Любарская с золотой сеткой на густых, причесанных двумя вороньими крыльями, волосах. Удлиненный овал бледно-матового лица и большие темные широко-раскрытые глаза. Свободными, спокойными складками падал вокруг стройной фигуры бархат ее одеяния, – не платья, а именно одеяния.

И как у польской графини, так и у художницы, Николай Феликсович, склонившись, с позабытой теперь учтивостью поцеловал узкую бледную руку, горящую кольцами.

Греясь у потрескивающего камина, высокий плотный брюнет, с аккуратно подстриженной на заграничный манер бородой, не сводил глаз с Любарской. В этом человеке с алой чувственной нижней губой, к которой вплотную подходила густая холеная борода, угадывался знаток женщин. Любарская волновала его своей оригинальной красотой, хотя, с общепринятой точки зрения, в ней не было ничего красивого.

Фамилия его – Еленич. Это – известный в Петербурге делец. Он, для виду, числился при каком-то министерстве. Но службой не занимался вовсе. Еленич поглощен был целиком всевозможными предприятиями, то зарабатывая десятки, даже сотни тысяч, то прогорая и нуждаясь в нескольких радужных. Темных дел ему не приписывала даже вездесущая петербургская сплетня, и репутация его была чиста. Те, кто знал его, говорили, что он хороший, любящий муж и отец.

Леонард обвел взглядом всех гостей и сказал:

– Что ж – приступим?

Любарская села за стол, на котором лежали большие белые твердые картоны. Сбоку – узкая коробка с длинными палочками угля и красными карандашами.

Чьи-то руки положили верхний картон на колени Любарской. Приблизившись к художнице, Леонард коснулся пальцами ее плеча и произнес каким-то другим голосом:

– Отдайтесь вашему высшему "я" и творите свободно!..

И отошел в сторону.

И вдруг позабыл о художнице. Усталый, какой-то бессонный взгляд...

А она – неузнаваема. Словно подменили ее, всегда медлительную, величавую. Горячим румянцем вспыхнули бледные щеки. В глазах – что-то чужое и чуждое. Какие-то вдохновен-

ные, неестественно веселые огоньки загорелись в них. И угадывалось, что эти глаза видят сейчас то, чего никто из окружающих не видит. Вздрагивал профиль, беззвучно, быстро-быстро шевелились губы и ходуном заходила горящая кольцами тонкая рука. Прыгали в воздухе трепещущие пальцы, бессознательно искали чего-то. И словно они были сами по себе, – пять крохотных непонятных существ...

И все смотрели на художницу и друг на друга с застывшими, серьезными лицами. И всех лихорадило нетерпение. Оставив свою позицию у камина, видный брюнет с "международной" бородой подошел ближе.

Кто-то вынул часы...

Башилова, священнодействуя, держит перед художницей коробку с углем. Пляшут пальцы, лихорадочно пляшут внутри коробки. Хватают один уголь, отбрасывают и из середины откуда-то, из-под груди выхватывают красный карандаш...

И совершенно неожиданно, где-то сбоку, на самом краю картона, Любарская делает несколько судорожных бессвязных штрихов. И сразу – стремительный переход вниз. Ряд сильных, почти безумных ударов карандашом. Она отбрасывает его, схватывает уголь... Задержалась на мгновение черная палочка в ее руке, точно недоумевающая...

Какой-то судорогой вздрогнули под бархатом одеяния плечи художницы. Она пыталась обернуться назад, а лицо исказилось капризно-досадливой, почти страдальческой гримасой. Что-то сковало ее, мешая творить... И хочет, пробует оглянуться, но не может...

Леонард со своими бессонными всевидящими глазами подоспел вовремя. Галантный поклон версальского маркиза по адресу Еленича и тихая, чуть слышная фраза:

– Я покорнейше прошу вас отойти в сторонку – подальше... У вас слишком большая воля, и она парализует художницу отдаться своему высшему "я"...

Брюнет молчаливо кивнул и вновь занял покинутое место у камина.

Гримаса исчезла с лица Любарской. Чертами овладело загадочное, вдохновенное выражение. Уголь заработал порывисто-энергичными штрихами, создавая прямо со сказочной быстротой наклонившуюся голову в тюрбане.

Уже кончен рисунок, но художница продолжает вздрагивать, трепещет рука с углем и глаза блестят нездешним и странным возбуждением.

Все сдвинулись тесным кольцом.

На картоне – две хаотических фигуры. Это – не люди, а призраки, символы. Одна фигура в тюрбане, с трагической линией бровей, перебирает струны. В этом широком, таком стихийном из нескольких штрихов рисунке углем было так "много востока". Чудился дремлющий под зноем базар, смуглые люди-тени, все в белом, чудились заунывные жалобные звуки свирели, факира-заклинателя змей.

Какой-то художник-любитель качал головой.

– Страшная сила! Можно подумать, – это эскиз какого-нибудь большого ориенталиста вроде Реньё или Бенжамёна-Констана.

Коснувшись плеча Любарской, Николай Феликсович расколдовал ее, снял свои чары. Она в изнеможении откинулась на спинку стула, глядя на всех и никого не видя, с блуждающей, какой-то бессильной улыбкой...

– Теперь она в сознании? Говорить с нею можно? – деловито осведомился Агашин у Леонарда.

– Можно, только не обременяйте ее вопросами, пожалуйста: два-три – не больше. Сеанс не кончен. Она будет еще рисовать...

– Будьте добры сказать мне, – спрашивал художницу репортер, – сюжет вам неизвестен заранее?

– Я ничего не знаю; какая-то посторонняя сила толкает мою руку, я ощущаю полную оторванность от земли и не знаю, куда брошу в этот момент последующий штрих.

Агашин чиркал все это в записной книжечке.

Высокий обладатель международной бороды наклонился к маленькому Леонарду.

– Николай Феликсович, представьте меня Любарской.

– Только не сейчас, ради Бога, не сейчас! Потом – с громадным удовольствием. Потом, перед ужином. Вы будете ее кавалером. А теперь...

Башилова положила другой чистый картон пред художницей. Леонард, в прюнелевых дамских туфельках, дробной походкой, словно расшаркиваясь по дороге, приблизился к Любарской и положил ей на плечо руку.

– Отдайтесь вашему высшему "я"!

Блуждающая улыбка покинула бледные черты, и вдруг озарилось лицо. Башилова продолжала священнодействовать, держала на вытянутых ладонях коробку с углем и карандашом. Резким и сильным движением выхватила художница черную палочку. Уголь хрустнул в ее руке и обломок безумными скачками забегал по картону....

Леонард, касаясь почти своими надушенными, кавалерийскими усами репортерского уха, шепнул:

– Попробуйте удержать ее руку. Берите смело и крепко – обеими руками!

– Зачем?

– А затем, что если у вас есть хоть малейшее подозрение относительно симуляции, – оно исчезнет. Я вас очень прошу...

Агашин, пожав плечами, приблизился к художнице. Некоторое время он не решался исполнить желание Леонарда. Сейчас она, эта женщина, казалась пугающей, одержимой чем-то непонятным, и он боялся прикоснуться к ней. Но, в конце концов, поборол себя. Ведь мужчина же он в самом деле! И сразу, в темп поймал судорожно прыгающую по картону руку и зажал у запястья всеми десятью пальцами. Но, к его изумлению, эта бледная тонкая рука, рука женщины, освободилась без всяких видимых усилий и побежала дальше, оставляя на своем пути хаос черных и резких штрихов...

Агашин, не отрываясь, глядит на картон, и его изумление растет, ширится, и весь он холодеет... Всматривается, впивается глазами – сам себе не верит! Откуда же это?.. Ведь ее не было там, – он помнит отлично!

Край широкой постели... Эскизным намеком угадывается балдахин с кистями... В ужасе, с искаженным лицом скрючилась полунагая женщина и быстро-быстро, словно сказочный фантом, вырастает над нею другая фигура, зловещая, как судьба... Вырастает снизу, – головы нет. Есть рука, занесенная, с чем-то острым... Агашин, леденея, мучительно сжимая пальцы, с нечеловеческим нетерпением ждет появления головы. Она будет, она должна быть!.. Вот, вот сейчас... Один удар угля, другой, дерзкая изогнутая линия профиля, шуршит и ломается черная палочка, сплошным "глухим" пятном зачерчивая бороду.

Агашин, бледный, с металлическим сухим вкусом во рту, ищет широко застеклившимися глазами... Он... Он, как две капли воды, – этот высокий...

И сходство – такое разительное, что все, как один человек, ищут глазами Еленича, находят и оторваться не могут. Он видит себя центром внимания, какого-то напряженного, граничащего с безумием... Еленич дрогнувшим движением выпрямился и прямо от камина подошел к художнице... Минута жуткого молчания, дрогнули его веки, дрогнул сильно развитый подбородок с чувственной полной губой... Громадным напряжением воли он выдавил на лице подобие улыбки... Скорее это была гримаса. И с дрожью в не своем голосе произнес, поводя так плечами, словно его охватил озноб:

– Забавно, право забавно... Вот... курьезное совпадение... Мой портрет – хоть на выставку. До чего может разгуляться больное воображение...

И с бледной, кривой улыбкой, не желая встречаться ни с чьим взглядом, искал, хотел ответа.

Но ему никто не ответил.

Дрожащими пальцами, не сразу, он вынул массивный золотой хронометр. Тишина была мертвая кругом. С певучим звоном щелкнула крышка...

– Однако... уже третий час... Бог знает, как поздно... Мне пора. Завтра я должен встать в восемь часов и уехать по делу...

Мгновение он ждал чего-то. Но опять молчание было ему ответом. Вместо лиц, он видел серые пятна, и, ни с кем не прощаясь, он вышел так поводя головою, словно воротничок ему резал шею.

Агашин бросился к телефону и с бешеным нетерпением стал вызывать ночного редактора "Невских Зарниц".

На другой день разнеслось по Петербургу, что Еленич бесследно исчез.

Орест Сомов «Кикимора»

Вот, видите ли, батюшка барин, было тому давно, я еще бегивал босиком да играл в бабки... А сказать правду, я был мастер играть: бывало, что на кону ни стоит, все как рукой сниму...

– Ты беспрестанно отбиваешься от своего рассказа, любезный Фаддей! Держись одного, не припутывай ничего стороннего, или, чтобы тебе было понятнее: правь по большой дороге, не сворачивай на сторону и не режь колесами новой тропы по целику и пашне.

– Виноват, батюшка барин!.. Ну, дружей, голубчики, с горки на горку: барин даст на водку... Да о чем бишь мы говорили, батюшка барин?

– Вот уже добрые полчаса, как ты мне обещаешь что-то рассказать о Кикиморе, а до сих пор мы еще не дошли до дела.

– Воистину так, батюшка барин; сам вижу, что мой грех. Изволь же слушать, милостивец!

Как я молвил глупое мое слово вашей милости, в те поры был я еще мальчишкой, не больно велик, годов о двенадцати. Жил тогда в нашем селе старый крестьянин, Панкрат Пантелеев, с женою, тоже старухою, Марфою Емельяновною. Жили они как у бога за печкой, всего было довольно: лошадей, коров и овец – видимо-невидимо; а разной рухляди да богатели и с сором не выметешь. Двор у них был как город: две избы со светелками на улицу, а клетей, амбаров и хлебных закровов столько, что стало бы на обывателей целого приселка. И то правда, что у них своя семья была большая: двое сыновей, да трое внуков женатых, да двое внуков подростков, да маленькая внучка, любимица бабушки, которая ее нежила, холила да лелеяла, так что и синь порошу не даст, бывало, пасть на нее. Все шло им в руку; а все крестьяне в селе-нии готовы были за них положить любой перст на уголья, что ни за стариками, ни за молодыми никакого худа не важивалось. Вся семья была добрая и к богу прибежная, хаживала в церковь божию, говела по дважды в год, работала, что называется, изо всех жил, наделяла нищую братию и помогала в нужде соседям. Сами хозяева дивились своей удаче и благодарили господа бога за его божье милосердие.

Надобно вам сказать, барин, что хотя они и прежде были людьми зажиточными, только не всегда им была такая удача, как в ту пору: а та пора началась от рождения внучки, любимицы бабушкиной. Внучка эта, маленькая Варя, спала всегда с старою Марфой, в особой светелке. Вот когда Варе исполнилось семь лет, бабушка стала замечать диковинку невиданную: с вечера, бывало, уложит ребенка спать, как малютка умается играя, с растрепанными волосами, с запыленным лицом; поутру старуха посмотрит – лицо у Вари чистехонько, бело и румяно как кровь с молоком, волосы причесаны и приглажены, инда лоск от них, словно теплым квасом смочены; сорочка вымыта белым-бело, а перина и изголовье взбиты как лебяжий пух. Дивились старики такому чуду и между собою тишком толковали, что тут-де что-то не гладко. Перед тем еще старуха не раз слыхала по ночам, как вертится веретено и нитка жужжит в потемках; а утром, бывало, посмотрит – у нее пряжи прибавилось вдвое против вчерашнего. Вот и стали они подмечать: засветят, бывало, ночник с вечера и сговорятся целою семьей сидеть у постели Вариной всю ночь напролет... Не тут-то было! незадолго до первых петухов сон их одолеет, и все уснут кто где сидел; а поутру, бывало, смех поглядеть на них: иной храпит, ущемя нос между коленами; другой хотел почесать у себя за ухом, да так и закачался сонный, а палец и ходит взад и вперед по воздуху, словно маятник в больших барских часах; третий зевнул до ушей, когда нашла на него дрема, не закрыл еще рта – и закоченел со сна; четвертый, раскочавшись, упал под лавку, да там и проспал до пробуду. А в те часы, как они спали, холенье и

убиранье Вари шло своим чередом: к утру она была обшита и обмыта, причесана и приглажена как куколка.

Стали допытываться от самой Вари, не видала ли она чего до ночам? Однако ж Варя божилась, что спала каждую ночь без просыпу; а только чудились ей во сне то сады с золотыми яблочками, то заморские птички с разноцветными перышками, которые отливались радугой, то большие светлые палаты с разными диковинками, которые горели как жар и отовсюду сыпали искры. Днем же Варюша видала, когда ей доводилось быть одной в большой избе, что подле светелки – превеликую и претолстую кошку, крупнее самого ражего барана, серую, с мелкими белыми крапинами, с большою уродливою головою, с яркими глазами, которые светились как уголья, с короткими толстыми ушами и с длинным пушистым хвостом, который как плеть обвивался трижды вокруг туловища. Кошка эта, по словам Варюши, бессменно сидела за печкой, в большой печуре, и когда Варе случалось проходить мимо нее, то кошка умильно на нее поглядывала, поводила усами, скалила зубы, помахивала хвостом около шеи и протягивала к девочке длинную, мохнатую свою лапу с страшными железными когтями, которые как серпы высывались из-под пальцев. Малютка Варя признавалась, что, несмотря на величину и уродливость этой кошки, она вовсе не боялась ее и сама иногда протягивала к ней ручонку и брала ее за лапу, которая, сдавалось Варе, была холодна как лед.

Старики ахнули и смекнули делом, что у них в доме поселилась Кикимора; и хотя не видели от нее никакого зла, а все только доброе, однако же, как люди набожные не хотели терпеть у себя в дому никакой нечисти. У нас был тогда в деревне священник, отец Савелий, вечная ему память. Нечего сказать, хороший был человек: исправлял все требы как нельзя лучше и никогда не требовал за них лишнего, а еще и своим готов был поступиться, когда видел кого при недостатках; каждое воскресенье и каждый праздник просто и внятно говаривал он проповеди и научал прихожан своих, как быть добрыми христианами, хорошими домоводцами, исправно платить подати государю и оброк помещику; сам он был человек трезвенный и крестьян уговаривал отходить подальше от кабака, словно от огня. Одно в нем было худо: человек он был ученый, знал много и все толковал по-своему:

– А разве крестьяне ему не верили?

– Ну, верили, да не во всем, батюшка барин. Бывало, расскажут ему, что ведьма в белом саване доит коров в таком-то доме, что там-то видели оборотня, который прикинулся волком либо собакой; что в такой-то двор, к молодежи, летает по ночам огненный змей; а батька Савелий, бывало, и смеется, и учнет толковать, что огненный змей – не змей, а... не припомню, как он величал его: что-то похоже на мухомор; что это-де воздушные огни, а не сила нечистая; напротив-де того, эти огни очищают воздух; ну, словом, разные такие затеи, что и в голову не лезет. Это и взорвет прихожан; они и твердят между собою: батька-де наш от ученья ума рехнулся.

– Глупцы же были ваши крестьяне, друг Фаддей!

– Было всякого, милосердый господин: ум на ум не приходит; были между ними и глупые люди, были и себе на уме. Все же они держались старой поговорки: отцы-де наши не глупее нас были, когда этому верили и нам передали свою старую веру.

– Вижу, что благомыслящий священник не скоро еще вобьет вам в голову, чему верить и чему не верить. Об этом надобно б было толковать сельским ребятам с тех лет, когда у них еще молоко на губах не обсохло; а старым бабам запретить, чтоб они не рассевали в народе вздорных и вредных суеверий.

– Как вашей милости угодно, – проворчал Фаддей и молча начал потрогивать вожжами.

– Что ж ты замолчал? рассказывай дальше.

– Да, может быть, мои простые речи не под стать вашей милости, и у вас от них, как говорится, уши вянут?.. Мы, крестьяне, всегда спроста соврем что-нибудь такое, что барам придется не по нутру.

– И, полно, приятель: видишь, я тебя охотно слушаю, и ты славно рассказываешь. Неужели ты доброю волею отступишься от гривенника на водку, который я тебе обещал?

– Ин быть по-вашему, батюшка барин, – промолвил Фаддей, веселее и бодрее прежнего. – Вот видите ли, старики и взмолились отцу Савелью, чтоб он отмолил дом их от Кикиморы. А отец Савелий и давай их журить: толковал им, что и старикам, и девочке, и всей семье только мерещилось то, чему они будто бы сдуру верили; что Кикимор нет и не бывало на свете и что те попы, которые из своей корысти потворствуют бабьим сказкам и народным поверьям, тяжко грешат перед богом и недостойны сана священнического. Старики, повеся нос, побрели от священника и не могли ума приложить, как бы им выжить от себя Кикимору.

В селении у нас был тогда управитель, не ведаю, немец или француз, из Митавы. Звали его по имени и по отчеству Вот-он Иванович, а прозвища его и вовсе пересказать не умею. Земский наш Елисей, что был тогда на конторе, в Дреком доме, называл его еще господин фон-барон. Этот фон-барон был великий балагур: когда, бывало, отдыхаем после работы на барщине, то он и пустится в рассказы: о заморских людях, ростом с локоть, на козьих ножках, о заколдованных башнях, о мертвецах, которые бродят в них по ночам без голов, светят глазами, шелкают зубами и свистом пугают прохожих, о жар-птице, о больших морских раках, у которых каждая клешня по полуверсте длиною и которых он сам видал на краю света... Да мало ли чего он нам рассказывал: всего не складешь и в три короба. Говорил он по-русски не больно хорошо: иного в речах его, хоть лоб взрежь, никак не выразишь; а начнет, бывало, рассказывать – так и сыплет речами: инда уши развесишь и о работе забудешь; да он и сам на тот раз не скоро, бывало, о ней вспомнит. Крестьяне были той веры, что у Вот-он Ивановича было много в носу; что до меня, я ничего не заметил, кроме табаку, который он большими напойками набивал себе в нос из старой, закоптелой тавлинки. Он, правда, выдумывал на барском дворе какие-то машины для посева и для молотбы хлеба; только молотильня его чуть было самому ему не размолотила головы, и сколько ни бились над нею человек двенадцать – ни одного снопа не могли околотить; а сеяльная машина на одной борозде высеяла столько, сколько на целую десятину в нее было засыпано. Однако же крестьяне все по-прежнему думали, что в нем сидит бесовщина и что его не достанет только на путное дело. К нему-то на воскресной мирской сходке присоветовали старому Панкрату идти с поклоном и просьбою, чтоб он избавил его дом от вражьего наваждения.

Пантелеич с старухою пустились в барский двор, где жил тогда Вот-он Иванович, и принесли ему, как водится, на поклон барашка в бумажке, да того-сего прочего, примером сказать, рублей десятка на два. Наш иноземец было и зазнался: "Сотна рублоф, менши ни копейка". Насилу усовестили его взять за труды беленькую, и то еще – отдай ему деньги вперед. Да велел он старикам купить три бутылки красного вина: его-де Кикиморы боятся; да штоф рому и голову сахару – опрыскивать и окуривать избу с наговором. Нечего было делать; старик отправил самого проворного из своих внуков на лихой тройке за покупками, и к вечеру как тут все явилось. Пошли с докладом к Вот-он Ивановичу, он и приплелся в дом к Панкрату, весь в черном. Сперва начал отведывать вино, велел согреть воды, отколол большей кусок сахару, положил в кипяток и долил ромом; и это все он отведывал, чтоб узнать, годятся ли снадобья для нашептыванья. Вот как выпил он бутылку виноградного да осушил целую чашку раствору из рому с сахаром, – и разобрала его колдовская сила. Как начал он петь, как начал кричать на каком-то неведомом языке, – ну, хоть святых вон неси! Велел подать четыре сковороды с горячими угольями, всыпал в каждую по щепотке мелкого сахару и расставил по всем четырем углам; после того шептал что-то над бутылками и штофом, взял глоток рому в рот, пустился бегать по избе да прыскать на стены, ломаться да коверкаться, кричать изо всей силы, инда у всех волосы дыбом стали. Так он принимался до трех раз; после сказал, что все нашептанные снадобья должно вынести из дому в новой скатерти и никогда ничего этого не вносить снова в дом; что с ними-де вынесется из дому Кикимора; велел подать скатерть, положил в ее бутылки,

штоф и сахар, поздравил хозяев с избавлением от Кикиморы и понес скатерть с собою, шатаясь с боку на бок, надобно думать, от усталости.

– Что же, Кикимора больше не оставалась в доме Панкратовом?

– Вот то-то и беда, сударь, что вышло наоборот. Видно, что колдовство нашего фон-барона было не в добрый час, или он кудесник только курам на смех, или просто хотел надуть добрых людей и полакомиться на чужой счет; только вышло, как я вам сказал, наоборот. Доселе Кикимора делала только добро: холила ребенка и прядла на хозяйку, никто ее за тем ни видал, ни слышал; а с этих пор, видно ее раздразнили шептаньем да колдовством, она стала по ночам делать всякие проказы. То вдруг загремит и затрещит на потолке, словно вся изба рушится; то впотьмах подкатится клубом кому-либо из семейн под ноги и собьет его как овсяный сноп; то, когда все уснут, ходит по избе, урчит, ревет и сопит как медвежонок; то середь ночи запрыгает по полу синими огоньками...

Словом, что ночь, то новые проказы, то новый испуг для семьи. Одну только маленькую Варю она и не трогала; и ту перестала обмывать и чесать, а часто на рассвете находили, что ребенок спал головою вниз, а ногами на подушках.

Так билась бедная семья круглый год. В один день пришла к ним в дом старушка нищая, вся в лохмотьях, и лицо у нее сжалось и сморщилось, словно сушеная груша или прошлогоднее яблоко от морозу. Тетка Емельяновна, как вы уже слышали, сударь, была старуха добрая и любила наделять нищую братию. Посадила она божью странницу за стол, накормила, напоила, дала ей денег алтын пять и наделила ее платьишком. Вот нищая и начала молить бога за всю семью; а после молвила: "Вижу, православные христиане, что господь бог наградил вас своею милостью: дом у вас как полная чаша; только не все у вас в дому здорово". – "Ох! так-то нездорово, что и не приведи бог! – отвечала тетка Марфа. – Посадили к нам, зная недобрые люди из зависти, окаянную Кикимору; она у нас по ночам все вверх дном и ворочает". – "Этому горю можно помочь; у вас не без старателей. Молитесь только богу да сделайте то, что я вам скажу: все как рукою снимет". – "Матушка ты наша родная! – взмолилась ей Емельяновна. – Чем хочешь поступимся, лишь бы эту нечисть выжить из дому". – "Слушайте ж, добрые люди! Сегодня у нас воскресенье. В среду на этой неделе, ровно в полдень, запрягите вы дровни... Да, дровни; не дивитесь тому, что нынче лето; этому так быть надобно... Запрягите вы дровни четом, да не парой..." – "Как же этому можно быть, бабушка? – спросил середний внук Панкратов, молодой парень лет семнадцати и, к слову сказать, большой зубоскал. – Ведь что чет, что пара – все равно!" – "Велик, парень, вырос, да ума не вынес, – отвечала ему старуха нищая, – не дашь домолвить, а слова властно с дуба рвешь. Вот как люди запрягают четом, да не парой: в корень впрягут лошадь, а на пристяжку корову, или наоборот: корову в корень, а лошадь на пристяжку. Сделайте же так, как я вам говорю, и подвезите дровни вплоть к сеним; расстелите на дровнях шубу шерстью вверх. Возьмите старую метлу, метите ею в избе, в светлице, в сених, на потолке под крышей и приговаривайте до трех раз: "Честен дом, святые углы! отметайтесь вы от летающего, от плавающего, от ходящего, от ползущего, от всякого врага, во дни и в ночи, во всякий час, во всякое время, на бесконечные лета, отныне и до века. Вон, окаянный!" Да трижды перебросьте горсть земли чрез плечо из сеней к дровням, да трижды сплюньте; после того свезите дровни эту ж самую упряжью в лес и оставьте там и дровни, и шубу: увидите, что с этой поры вашего врага и в помине больше не будет". – Старики поблагодарили нищую, наделили ее вдесятеро больше прежнего и отпустили с богом.

В эти трое суток, от воскресенья до среды, Кикимора, видно почуяв, что ей не ужиться дольше в том доме, шалила и проказила пуще прежнего. То посуду столкнет с полок, то навалится на кого в ночи и давит, то лапти все соберет в кучу и приплетет их. одни к другим бичевками так плотно, что их сам бес не распутает; то хлебное зерно перетаскает из сушила на ледник, а лед из ледника на сушило. В последний день и того хуже: целое утро даже не было никому покою. Весь домашний скарб был переверочен вверх дном, и во всем доме не оста-

лось ни кринки, ни кувшина неразбитого. Страшнее же всего было вот что: вдруг увидели, что маленькая Варя, которая играла на дворе, остановилась среди двора, размахнув ручонками, смотрела долго на кровлю, как будто бы там кто манил ее, и, не спуская глаз с кровли, бросилась к стене, начала карабкаться на нее как котенок, взобралась на самый гребень кровли и стала, сложа ручонки, словно к смерти приговоренная. У всей семьи опустились руки; все, не смигивая, смотрели на малютку, когда она, подняв глаза к небу, стояла как вкопанная на самой верхушке, бледна как полотно, и духу не переводила. Судите же, батюшка барин, каково было ее родным видеть, что малютка Варя вдруг стремглав полетела с крыши, как будто бы кто из пушки ею выстрелил! Все бросились к малютке: в ней не было ни дыхания, ни жизни; тело было холодно как лед и заостенело; ни кровинки в лице и по всем составам; а никакого пятна или ушиба заметно не было. Старуха бабушка с воем понесла ее в избу и положила под святыми; отец и мать так и бились над нею; а старик Панкрат, погоревав малую толику, тотчас хватился за ум, чтоб им доле не терпеть от дьявольского наваждения. Велел внукам поскорее запрягать дровни, как им заказывала нищая, и подвезти к сеним; а сам приготовил все, как было велено, и ждал назначенного часа. На старика и внуков его, бывших тогда на дворе, сыпались черепья, иверни кирпичей и мелкие камни; а женщин в избе беспрестанно пугал то рев, то гул, то вой, то страшное урчанье и мяуканье, словно со всего света кошки сбежались под одну крышу. То потолок начинал дрожать: так и перебирало всеми половицами и сквозь них на голову сеяло песком и золою. Все бабы, лепясь одна к другой, сжались около тела маленькой Вари и дух притаили. Так прошло не ведаю сколько часов. Вот на барском дворе зазвонили в колокол. Это бывало всегда ровно в полдень, когда садовых работников сзывали к обеду. Пантелеич опрометью кинулся в избу, схватил метлу – и давай выметать да твердить заговор, которому нищая его научила. Проказы унялись; только мяуканье, и фыркание, и детский плач, и бабий вой раздавались по всем углам. Скоро и этого не стало слышно: обе избы, светлицы, потолки и сени были выметены; старик трижды бросил через плечо землю горстями, трижды плюнул и велел двоим внукам взять лошадь и корову под уздцы да вести их с дровнями со двора, вон из деревни, через выгон и к лесу. На дворе и по улице столпились крестьяне целой деревни, все, от мала до велика, и провожали Кикимору до самого леса...

– И ты был тут же?

– Как не быть, батюшка барин. И теперь помню, что меня в жаркую пору такой холод пронял со страху, что зуб на зуб не попадал; а за ушами так и жало, словно кто стягивал у меня кожу со всей головы.

– Да видел ли ты Кикимору?

– Нет, грех сказать, не видал. Видал только дровни, а на них тулуп овчиной вверх; больше ничего.

– Кто ж ее видел?

– Да бог весть! Сказывала мне, правда, тетка Афимья, спустя после того годов с десятков, будто она слышала от соседки, а та от своей золовки, что была у нас тогда в селе одна старуха, про которую шла слава, что она мороковала колдовством и часто видала то, чего другие не видели; и что эта-де старуха видала на дровнях большую-пребольшую серую кошку с белыми крапинами; что кошка эта сидела на тулупе, сложа все четыре лапы вместе и ошестиня шерсть, сверкала глазами и страшно скалила зубы во все стороны. Как бы то ни было, только с сей поры ни в Панкратовом доме, ни в целой деревне и слыхом не слыхали больше про Кикимору.

– Радуюсь и поздравляю вашу деревню... А что ж было с малюткою Варей?

– Бедняжка все лежала как мертвая. Старики и вся семья поплакали над нею и хотели ее похоронить. Позвали отца Савелья. Он посмотрел на тело и сказал, что малютке сделался младенческий припадок, словно от испугу, и ни за что не хотел ее хоронить до трех суток. Через три дня, в воскресенье, та же старуха нищая постучалась у окна в Панкратовом доме; ее впустили. Емельяновна рассказала ей всю подноготную и повела ее в светлицу, где лежало тело

Варюши. Нищая велела его переложить со стола на лавку, поставила икону подле изголовья, затеплила свечку, села сама у изголовья, положила голову ребенка к себе на колени и обхватила ее обеими руками. После того выслала она всю семью из светлицы, и даже вон из избы. Что она делала над ребенком, она только сама знает; а через несколько часов Варя очнулась как встрепанная и к вечеру играла уже с другими детьми на улице.

– Ну, что же далее?

– Да больше ничего, сударь. Все пошло с тех пор подобру-поздорову.

– Благодарствую, друг мой, за сказку: она очень забавна.

– Гм! какая вам, сударь, сказка; а бедной-то семье вовсе было не забавно во время этой передряги.

– Но послушай, приятель: ведь ты сам не видал Кикиморы?

– Нет. Я уж об этом докладывал вашей милости.

– И Петр, и Яков, и все крестьяне вашей деревни тоже ее не видали?

– Вестимо, так!

– Что же рассказывал о ней сам старик Панкрат?

– Ничего, до гробовой своей доски. Еще, бывало, и осердится, старый хрен, как поведут об этом слово, и вскинется с бранью: "Вздор-де вы, ребята, мелете, только на мой дом позор кладете!" И детям и внукам, видно, заказал об этом говорить: ни от кого из них, бывало, не добьешься толку... Так она, проклятая, напугала старика.

– Так я тебе объясню все дело; слушай. Старые бабы или завистники Панкратовы взвели на дом его небылицу, потому что на семью его нельзя было выдумать какой-либо клеветы. Эту небылицу разнесли они по всей деревне; вам показалось то, чего вы на самом деле не видели, а поверили чужим словам. Молва эта удержалась у вас в селении; старухи твердят ее малым ребятам, и, таким образом, она переходит от старшего к младшему... Вот и вся истерия твоей Кикиморы.

– Моей, сударь? Упаси меня бог от нее...

Тут Фаддей перекрестился и вслед за тем прикрикнул на лошадей, замахал кнутом и помчал во весь дух. Со всем моим старанием я не мог от него добиться более ни слова. В таком упрямом молчании довез он меня до следующей станции, где так же молчаливо поблагодарил меня поклоном, когда я отдал ему условленные сверх прогонов деньги.

Александр Куприн «Ужас»

Никто из нас четырех не знал своих случайных спутников. Разговорились мы совершенно нечаянно, как можно только разговориться, сидя друг против друга в вагоне, в длинный декабрьский вечер. Угарный запах железной печки, зловещий тускло-желтый полусвет, изливаемый двумя фонарями, задернутыми занавесками, утомительно однообразный стук колес, в такт с которыми колыхались и вздрагивали на потолке вагона уродливые тени, – все это сообщило нашей беседе странный, полуфантастический характер. Вспоминались читанные и слышанные рассказы о загадочных явлениях жизни, объяснимых только вмешательством сверхъестественных сил, о таинственных предчувствиях, о самоубийствах и привидениях. Сообразно со вкусами и кругозором каждого из собеседников, и рассказы были различного свойства. Один из нас, по всей вероятности, купец, в медвежьей шубе таких гигантских размеров, что она оказалась бы широкой для самого крупного медведя, склонен был более всего к рассказам в религиозном духе. В его случаях фигурировали: то святотатцы, задумавшие обобрать покойника, стоявшего в церкви, то убитый разбойниками монах, требовавший по ночам, чтобы его тело предали земле, то икона в Новгороде, на которой постепенно распрямляются сжатые в кулак пальцы святого, и когда они окончательно распрямятся – это верный признак скорой кончины мира. Другой пассажир – студент-медик первого курса – пугал нас случаями, происходившими в анатомическом театре, случаями, передающимися из поколения в поколение и совершенно недостоверного свойства. Я тоже, помнится, варьировал какой-то из необыкновенных рассказов Эдгара По, переделав его на происшествие с моим хорошим знакомым. Четвертый собеседник – господин в ушастой меховой шапке и в пледе поверх пальто – лишь изредка нарушал свое молчание односложными замечаниями.

Поезд несся вперед. Вагон однообразно вздрагивал, и вместе с ним вздрагивали на потолке уродливые, тоскливые тени. За окном точно бежала назад небольшая полоса мутно-серого снега, едва освещаемого огнями поезда. Изредка в этой полосе быстро мелькали грустные черные силуэты оголенных кустов и деревьев, а дальше глаз тонул в холодной жуткой тьме, с которой сливались и небо и снег равнины, но в которой чувствовалась бушевавшая метель. Наши нервы невольно настроились на печальный и таинственный лад.

– Конечно, господа, все, что вы сейчас рассказали, необыкновенно и очень страшно, – произнес вдруг молчавший до сих пор господин в пледе и в ушастой шапке. – Но только все это – недостоверно. Кто из вас может поручиться за то, что эти случаи действительно происходили, а не явились плодом досужего вымысла? А я могу вам рассказать, если хотите, об одном происшествии, случившемся лично со мною. Я в продолжение всего лишь нескольких минут был одержим "ужасом сверхъестественного", но эти пять-шесть минут остались, и я знаю, что они навсегда останутся самым главным событием моей жизни, потому что невозможно одному и тому же человеку два раза в жизни перенести такой ужас.

Мы очень заинтересовались словами этого господина, и он начал:

– Десять лет тому назад я служил по таможенному ведомству и был смотрителем переходного пункта в пограничном местечке В. На моей обязанности лежала проверка товаров, пропускаемых за границу и провозимых из-за границы.

Пункт находился на плотине, пересекавшей реку Збруч. В шесть часов вечера, в моем присутствии, сторожа запирали рогатку, и с этого момента моя служба кончалась. Остальным временем я мог распоряжаться по своему усмотрению, и у меня вошло в привычку каждый вечер отправляться на вокзал к приходу вечернего курьерского поезда. На вокзале в эту пору собирались все чиновники таможи, пограничные офицеры, иногда даже окрестные мелкие

помещики. В самом вокзале было тепло, светло, даже, если хотите, комфортабельно. Многие являлись с своими женами и дочерьми, ужинали в буфете, немного сплетничали, немного флиртовали, иногда составлялась партия ландскнехта, или по-тамошнему, "дьябелка". В одиннадцать часов почти одновременно приходили оба поезда: и наш и австрийский. Вокзал сразу наполнялся разноплеменной публикой, суетливой, шумной, озабоченной. Изредка переезжал границу какой-нибудь путешествующий инкогнито кронпринц, и мы, глядя на него, с удовольствием убеждались, что коронованные особы ужинают с таким же аппетитом, как и обыкновенные смертные. Случалось также, и даже почти каждый день, что при досмотре задерживалась в багаже крупная контрабанда или что какую-нибудь изящную даму увели для обыска в уборную.

А контрабанда в то время попадалась часто и всегда в большом размере. То была счастливая эпоха, о которой теперь только вздыхают поседелые в таможах и пакгаузах чиновники.

Тогда каждый служащий непременно имел свой круг клиентов среди контрабандистов. Девять раз он пропускал запрещенный товар, но в десятый задерживал его, по всей строгости законов, и получал премию. Таков был уговор, и горе тому контрабандисту, который для десятого раза провозил товар недорогой или в малом количестве. Да на что лучше: так хорошо жилось в то время таможенным чиновникам, что они находили неразрительным выписывать на свои холостые ужины из Львова и даже из самой Вены шансонетных певиц.

Местечко отстояло от вокзала на четыре версты. Общества в нем не было никакого, если не считать урядника и четырех почтовых чиновников, старых, геморроидальных и скучных. Нет ничего удивительного, что четырехверстное расстояние не пугало меня.

Однажды вечером, в конце ноября, заперев по обыкновению рогатку, я переоделся, привел в порядок накопившиеся за день документы и вышел из дому, чтобы идти на вокзал. Туда вели две дороги. Одна, более длинная, шла через все местечко и через прилегавшую к нему деревню Фридриховку. Другая, короткая, и собственно даже не дорога, а тропинка, пересекала по диагонали огромное пустое поле и выходила на железнодорожный вал, откуда до вокзала было как рукой подать. Я, конечно, ходил всегда полем и на этот раз пошел тем же путем.

Был час этак восьмой или даже девятый в начале. Стояла такая темь, что в десяти шагах уже ничего невозможно было разобрать. Я шел, угадывая дорогу ощупью, ногами: в том месте, где шла тропинка, снег слежался плотнее и издавал под каблуками легкий звук. Рядом с тропинкой тянулся ряд телеграфных столбов. Ветер жалобно звенел в обледенелых проволоках, а самые столбы гудели непрерывно и однотонно. Каждый раз, подходя к столбу и еще не видя его во мраке, я уж слышал это: гудение.

Началась вьюга. Прямо мне в глаза, слепя их, несся колючий, мелкий и сухой снег. Сердце мое было беспокойно. Мной овладело странное, неприятное и сложное чувство, которое всегда охватывает меня, когда я перехожу большие незакрытые пространства: поля, городские площади и даже длинные залы. Мне казалось, что я так ужасно мал и незначителен, а расстилавшееся передо мною поле так страшно велико, что я никогда не смогу перейти его. И от этой мысли я чувствовал временами, что все поле начинает подо мною кружиться.

Иногда я оглядывался назад и смотрел на слабо мерцающие вдаль огоньки местечка. Это меня облегчало и поддерживало. Наконец и огни скрылись разом, когда, я сошел в длинную, плоскую равнину. Вокруг меня была одна только мутная, белесоватая мгла.

Этого места я всегда инстинктивно боялся. Почему? – я и сам не мог бы сказать. Каждый раз, проходя этой долиной, я чувствовал, как безотчетный страх, по гомеровскому выражению, "хватает меня за волосы". И странно! Вместо того чтобы успокоить себя, я всегда почему-то дразнил еще более свое воображение воспоминаниями разных ужасов. Впоследствии я узнал, что у многих, если не у всех нервных людей, есть места, вызывающие такой безотчетный страх.

Я уже сказал, что вокруг меня была только темнота и вьюга... Вдруг, прямо перед собой, в очень значительном отдалении, как мне показалось, я заметил большое, темное, неподвижное

пятно... Я остановился и слегка затаил дыхание, чтобы лучше прислушаться. Все было тихо; только снежинки слабо стучали о мое лицо, да сердце у меня в груди билось так громко, что, казалось, на другом конце поля можно было расслушать.

Темный предмет не шевелился. Я сделал пять шагов вперед и тотчас же убедился, что темнота и вьюга ввели меня в заблуждение относительно расстояния. Очень близко от меня на снегу неподвижно сидел человек, прислонившийся спиной к телеграфному столбу.

Он одет был в шубу, совершенно расстегнутую и распахнутую на груди. Шапки на нем не было. Он сидел очень ровно и прямо, вытянув вперед сложенные вместе ноги и опустив руки по бокам туловища, так, что кисти их уходили в снег. Голова была слегка закинута: назад.

– Кто вы? – спросил я незнакомца.

Голос мой был слаб, как шепот, робок и звучал точно откуда-то издали. Так иногда перед обмороком слышатся голоса окружающих.

Он молчал.

– Кто вы? – повторил я.

Ни звука.

"Он, верно, замерз или его убили", – подумал я, и эта мысль как будто бы успокоила меня.

Страх, стягивавший на моем черепе кожу и пробегавший морозными волнами по моей спине, уступил на минуту место другому чувству – сознанию необходимости помочь ближнему.

Я подошел к незнакомцу в шубе и разглядел его. У него было длинное, худое лицо с тонкими губами, с длинным, горбатым носом; козлиная борода и брови, изогнутые острыми углами, довершали это странное, насмешливое лицо, лицо интеллигентного сатира. Он был жив, потому что его глаза следили за мною. Страх опять начал овладевать мною, и мои зубы застучали часто и громко.

– Кто вы? – спросил я в третий раз задыхающимся голосом, чувствуя, как у меня в горле становится какой-то сухой, колючий клубок. Нервы мои были страшно напряжены и изощрены: я заметил, что на снегу около сидящего человека нет и признака каких-либо следов.

Он молчал и глядел на меня. И я глядел на него, не отрываясь. Я уже не мог отвести от него глаз. Ужас – невероятный, непередаваемый словами, нечеловеческий ужас оледенил мой мозг, мою кровь, мое тело. Пальцы на моих руках и ногах свела внезапно судорога.

Я глядел на него, не имея сил отвернуться в сторону. Прошло... я не знаю, сколько прошло секунд, минут... может быть, даже часов. Время остановилось. И вдруг (голос рассказчика возвысился и зазвенел)... вдруг незнакомец с тонким и насмешливым видом подмигнул мне левым глазом. Вслед за этим лицо его исказилось в безобразную гримасу, в какое-то нелепое, циничное сочетание смеха и испуга.

В ту же секунду я почувствовал, что и на моем лице отразилась эта чудовищная гримаса.

– Ты дьявол! Вот ты кто! – закричал я в исступлении злобы и ужаса и изо всех сил ударил незнакомца ногой по лицу.

Он упал, как падают мертвые – грузно и не стибаясь. Я бросился бежать прочь. Но ноги не слушались меня, – они сделались точно свинцовые, и я с трудом передвигал их. Я падал, вставал и падал снова. Только во сне иногда я испытывал раньше подобное чувство, когда снится, что хочешь бежать от невидимого врага, а ноги не поднимаются, точно к ним привязаны пудовые гири...

И в то же время (это мне передавали уже впоследствии) я кричал без остановки все одно и то же слово:

– Дьявол! дьявол! дьявол!

Потом сознание оставило меня. Я очнулся дома, на своей кровати, после жестокой болезни.

Господин в ушастой шапке замолчал.

– Кто же это сидел на снегу? – спросил студент, следивший за рассказом с большим вниманием.

– Потом это все разъяснилось, – ответил рассказчик. – Оказалось, что какой-то австрийский купец шел, так же как и я, с переходного пункта на вокзал, но по дороге его разбил паралич. Он кое-как дотащился до столба и сидел около часу, да еще вдобавок обморозился так, что не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. Его уже потом нашли в десяти шагах от меня. Оба мы были без чувств.

– Так вот, господа, – закончил рассказчик в ушастой шапке, – вот какой ужас мне пришлось испытать. Я не сумею и сотой доли передать из своих тогдашних ощущений, но лучшим доказательством их может служить моя голова.

Он поднял шапку. Его волосы были белы как снег.

– Это я за одну ночь так побелел, – прибавил он с грустной улыбкой.

Осип Сенковский «Любовь и смерть»

- Кто там?
- Я-с!.. Петр!
- Чего хочешь?
- Тот высокий бледный господин, в очках, который обедал у нас в понедельник, – как бишь его фамилия? – приезжал сюда вчера, поздно, без вас, и оставил какие-то бумаги.
- Покажи. Отдавая, он ничего не сказал тебе?
- Ничего-с! Он только сказал: «Отдай эту статью барину и попроси, чтоб он прочел».
- Хорошо, ступай! Посмотрим, что это такое... «Любовь и смерть, ночное мечтание»: слава Богу, что не повесть! Надо прочитать ночное мечтание. Ночью люди иногда мечтают умнее, нежели днем.

* * *

Знаете ли вы сладость, или, говоря языком века, поэзию, одинокого, но совершенно одинокого, сидения в третьем часу ночи в огромной и пустой зале перед камином, когда две стоявшие подле вас на подвижном столике свечи уже испарились, и самая пламя медленно умерло в прозрачном жерле стекла, оберегающего металл подсвечника? Когда ваша любимая книга, товарищ, ваших дум и источник наслаждений, упала из ваших рук и какое-то странное оцепенение всех членов, в которое повергает человека мысль, сильно овладевшая его мозгом, как бы приковывает вас к креслам и запрещает поднять ее с земли под карюю мгновенного расстройства всего блага? Когда догорающая глыба каменного угля, еще вся насыщенная огнистою материей, но уже потерявшая игру пламени, мертво лежит на черных ребрах огнива и вокруг вас разливает тусклый красный свет, отражающийся кровавыми полосами на мебели, картинах и карнизах, оставляя по углам комнаты грозные колонны мрака, храмин таинственности, и образуя в ближайшей части воздуха страшный раствор огня и ночи, какой-то румяно-бурый отлив – отлив скорее черный, нежели румяный, – один из тех зловещих светов, какими, я представляю себе, должны освещаться пещеры ада?.. О, если вы никогда не испытывали на себе действия подобной поэзии, то приходите ко мне в эту минуту и присядьте здесь со мною!.. Нет, лучше не приходите! Оставьте меня здесь одного; не мешайте моему упоению: я теперь счастлив. Не похищайте у меня моего счастья, моего бедного счастья: оно так редко меня навещает!.. Оно заглядывает ко мне только ночью, и то украдкой, на минутку, когда вы спите, когда исполнило оно свою службу при ваших особах, уложило вас в постели, и более нечего ему делать в вашей передней; навещает только из сострадания, как навещают больного, чтоб узнать, скоро ли кончатся его мучения. Оставьте его теперь со мною: с райскою улыбкой, с улыбкой самого счастья, оно бросило в душу мою утешительную мечту... Если б вы теперь исторгли эту мечту из моей груди, вместе с нею исторгли бы и жизнь мою!..

Я не тронусь с этих кресел, не пошевелюсь, пробуду здесь неподвижно, пока эта мечта, драгоценный дар навестившего меня счастья, сама собою не потухнет в моей голове, подобно последней искре огня в камине. Долго, долго пробуду здесь в роскошных объятиях моей очаровательной мечты, страстно прижав ее к сердцу, обняв ее всею душою; и приклоню мое чело к белой и пахучей ее груди, и вопьюсь в эту сладкую грудь устами, и не отторгну их до самой смерти или до нового страдания.

Зенеида, Зенеида! Зачем не можешь и ты возвратиться к жизни вместе с ними, когда лучи солнца поутру вскипятят в этой атмосфере все видимое и невидимое движущееся бытие!.. Ты

уже не проснешься, несчастная!.. Вечный сон закрыл для меня навсегда твои большие голубые глаза! Горсть сырой земли лежит на твоих белых атласных веках, тогда как я еще попираю эту Землю и ищу твоей тени печальным взором в этих массах мрака, скитающихся по углам пустого моего жилища...

Любовь и смерть – вот две главные точки, около которых вращается временное наше существование в человеческом виде, два полюса моего бытия и бытия всего созданного, два великие, таинственные состояния человека. Любовь – я в том уверен! – любовь не оканчивается с нашей жизнью: она еще рдеет в нашем теле и в гробу; она, вероятно, еще приводит в сладостное дрожание всякую отдельную пылинку нашей персти, ежели при жизни мы чувствовали ее сильно, истинно, беспредельно... Эта мысль не может расстаться со мною: она слита с моим существованием. Эта мысль лежит на моем сердце, как камень: я умру с нею и желал бы, чтоб она выросла цветком на моей могиле!..

Да, моя несчастная Зенеида! я верю в любовь после смерти: ты убедила меня в этой священной для моего сердца истине. Я бы сошел с ума, если б потерял эту веру.

Явись, мой друг, моим взорам! Если ты теперь стоишь в этом столбе мрака, если твоя робкая тень прячется в этом черном воздухе, который теперь так страшно скопился в углу комнаты, – выйди оттуда, Зенеида, и присядь здесь – здесь на моих коленях! Зенеида!.. Ты, верно, меня слышишь!.. Зенеида! ты должна быть где-нибудь близ меня!.. Покажись!

Она теперь не хочет предстать передо мною!.. Но я чувствую ее присутствие; она непременно должна быть теперь в этой комнате... Она бросила в юную душу мою свой волшебный образ и поспешно ушла с этого света, для того чтоб я никогда не мог отдать ей обратно бесценного ее подарка!.. Она исчезла, как падающая звезда, нарисовав по всему небу моего воображения длинную огненную черту, которая никогда не исчезнет.

Я люблю вспоминать о подробностях моего с нею знакомства. Всякий вечер я об них вспоминаю, и на следующий день они опять кажутся мне новыми. Где та красивая дача, в девяти верстах от Петербурга, на которой я впервые, сквозь зыблющуюся сетку листьев аллеи, увидел два волшебных голубых глаза, мерцающих блеском утренней росы? Эта дача уже не существует; эта аллея уже истреблена; но я и теперь вижу те же листья, то же дрожание листьев – мог бы и теперь верно нарисовать положение всякого листочка в той зеленой движущейся путанице, сквозь которую в первый раз блеснули передо мною эти глаза, отрываясь от зеленой книги и медленно направляясь в ту сторону, где я давно уже стоял за кустом акации. Откуда с лишком полчаса смотрел на нее украдкой, подстрекаемый детским любопытством подсмотреть лицо читающей дамы. На этих глазах волновались две крупные слезы: одна из них упала на книгу – в ней заключалась судьба целой моей жизни!..

То была слеза огорчения, а не удовольствия: я прочитал это в лице Зенеиды, которое было молодо и очаровательно. О, если б мог я тогда испытать эту слезу!..

Мы были соседи по даче. Я успел познакомиться с нею. Зенеида была замужняя: это ужасное для меня обстоятельство узнал я только при первом с нею разговоре. Мои надежды – мои милые, сладкие, блистательные надежды – были разражены этим известием, как громом. Я побледнел, и она это заметила. Впоследствии она часто напоминала мне об этом – и потом, обернувшись, вздыхала. Я не смел даже спросить, о чем она вздыхает: ее глаза, волшебные голубые глаза, для которых я бросился бы в огонь и в воду, положительно запрещали мне быть любопытным.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.